

## Александр Козачинский Зеленый фургон

Зима 1931 года была в Гаграх необычайно суровой.

Весь декабрь шел дождь; в январе повалил снег. Это был очень странный снег, хотя так, по-видимому, и должен был выглядеть субтропический снегопад. Огромные, величиной с черешню, снежинки, нарядные, как елочные украшения, медленно опускались в неподвижном воздухе, и это медленное, монотонное падение не прекращалось ни на минуту в течение шести недель. Листья пальм не выдерживали тяжести непривычного снежного груза и ломались. Розы, которым полагалось цвести в это время, распускали свои лепестки над снежной пеленой, как лишайники севера. Так, наверное, выглядели тропические леса Европы в начале ледникового периода.

Всю зиму по Черному морю гулял шторм. На узкую полосу гагринской земли обрушивались огромные, молчаливые волны. Они двигались медленно, длинными правильными шеренгами, на очень большом расстоянии друг от друга, неся на своих гребнях толстых морских птиц. Споткнувшись о берег, валы опрокидывались, а птицы, исчезнув на миг, появлялись на гребне следующей волны. Ровный гул моря не умолкал много недель и уже не воспринимался как шум; прибой казался беззвучным, как снегопад.

Однако Гагры лишились не только тепла, солнечного блеска и благоухания цветущих садов, но также и электрического освещения. Гагринская гидростанция, равная по мощности мотоциклету, приводилась в действие водопадом, свергавшимся с отвесного склона Жоэварского ущелья. Это был небольшой водопад; он мог бы весь, до последней капли, уместиться в обыкновенной водосточной трубе. Но декабрьские ливни превратили тощую струю в мощный поток, и гидростанция захлебнулась в нем; январские морозы сковали поток, и гидростанция осталась совсем без воды.

На фоне этих странных и грозных явлений особенно зловеще выглядела гибель духана «Саламандра». В старой гагринской крепости друг против друга расположились два конкурирующих артельных духана: «Феникс» и «Саламандра». Темной январской ночью, когда шторм бушевал с особенной силой, «Саламандра», к великой радости «Феникса», сгорела. Духан сгорел со всеми скорпионами, жившими в трещинах крепостной стены. Они были гордостью духана; каждый посетитель, осветив щели спичкой, мог любоваться скорпионами, которые настолько привыкли к аромату шашлыков, запаху красного вина и веселью гостей, что превратились в совершенно безобидных насекомых, вроде сверчков или шелковичных червей. Мрак и пламя скрыли от глаз картину гибели скорпионов, но говорят, что все они, согласно обычаю, покончили самоубийством, ужалив себя в голову и проклиная обманчивое название духана, которому доверились. В Гаграх и сейчас охотно рассказывают об этом событии.

Но гибель «Саламандры» не была последним звеном в цепи несчастий. Большая гора обрушилась на автомобильную дорогу к северу от Гагр, а дорога на юг, размытая дождями, сползла в море. И ни один пароход из-за шторма не останавливался на открытом гагринском рейде. Городок, засыпанный снегом, скованный стужей и погруженный в темноту, оказался отрезанным от всего мира. Множество людей, собиравшихся провести в Гаграх месяц отдыха, остались здесь на невольную зимовку. Они бродили по засыпанному снегом гагринскому парку в тюбетейках и макинтошах, подобно доисторическим людям, которые зябли в своих демисезонных шкурах среди надвинувшихся отовсюду ледников.

Если бы не морозы, штормы и обвалы, литературный клуб в бывшем замке принца Ольденбургского, вероятно, никогда бы не возник. Всем, бывавшим в Гаграх, знаком вид этого здания, эффектно прилепившегося к почти отвесному склону горы, построенного из камня, но в том прихотливом и затейливом стиле, который характерен для архитектуры деревянной. Бывшее жилье принца не поражало внутри ни роскошью, ни комфортом; в наши дни никому не пришло бы в голову назвать подобное здание «дворцом». Впрочем, во всех

комнатах принц поставил нарядные камины, украшенные разноцветными изразцами. У одного из этих каминов и собирались члены литературного клуба, обязанного своим зарождением разбушевавшимся стихиям и прежде всего стихии скуки.

От скуки страдали все жители санатория, кроме, разумеется, шахматистов. Садясь за доски с утра, они наносили друг другу последние удары уже в полной темноте. Придя после многочасовых усилий, к ладейному эндшпилю, не замечая темноты, а может быть, и пользуясь ею, они ошупью старались загнать друг друга в матовую сеть. Не унывали и фотолюбители, с редким упорством снимавшие в течение всего срока пленения один и тот же цветущий розовый куст, полусыпанный снегом. Тем же, кто был свободен от этих увлечений, было плохо. Все надоело, хотелось домой. Казенные пижамы скрипучего желто-зеленого цвета, «мертвый» час, вдохи и выдохи на утренней зарядке, добрые няни, снующие по коридорам с грелками и клизмами, кровати с сетками, чувствительными, как сейсмограф, и шумными, как камнедробилки, надпись на дверях поликлиники, извещающая о том, что «рентгеновские лучи работают по четным и нечетным числам», — все то, что вначале радовало, казалось приятным, удобным, забавным, сейчас оставляло сердца холодными, раздражало, выводило из себя. Дошло до того, что никто уже не хотел взвешиваться на зыбких медицинских весах в докторском кабинете.

Кое-кто из больных уже поговаривал о том, чтобы «тюкнуть» по маленькой. А нескольких диетиков главврач застиг внизу, в крепости, в духане «Феникс», где диетики пожирали чебуреки, запивая их «Букетом Абхазии».

Вот в какой обстановке зародился литературный клуб у зеленого камина в палате номер семь. Сначала здесь занимались только игрой в отгадывание знаменитостей и разложением слов. Потом стали рассказывать разные истории, преимущественно страшные. Однажды кто-то предложил не рассказывать их, а записывать.

Ничего нет легче, чем убедить человека заняться сочинительством. Как некогда в каждом краматорце жил художник, так в каждом современном человеке дремлет писатель. Когда человек начинает скучать, достаточно легкого толчка, чтобы писатель вырвался наружу.

Чтения происходили по вечерам. В зеленом камине сердито шипели и плевались сырые поленья. Красноватый свет керосиновой лампы освещал пространство перед камином, оставляя углы палаты темными. Члены клуба занимали свои постоянные места. Слева сидел почтенный хлебопек Пфайфер, обратив к огню свое доброе лицо старухи. Рядом с ним устраивался военный интендант Сдобнов, всегда докрасна выбритый, в пижаме и сапогах. Еще дальше располагалась на кургузом диванчике женщина-врач Нечестивцева. Председатель клуба Патрикеев устраивался на двух чурбанчиках, поставленных на торцы. Как литератор он был освобожден от писания рассказов, но зато ему было поручено топить камин и следить за угольками, падающими на паркет. В углу на кровати сидел закадычный друг Патрикеева — доктор Бойченко, человек тихий, серьезный, ленинградского воспитания. Рядом с ним, на другой койке, лежал, просунув вишневые ботинки меж прутьев кровати, юрисконсульт Котик, жгучий брюнет с коричневыми белками и волнистыми усами Мопассана.

Девиз клуба, сочиненный Патрикеевым, гласил: «В каждой жизни есть по крайней мере один интересный сюжет». Поэтому авторам разрешалось брать сюжеты только из собственной жизни. А так как жизни у всех были совершенно непохожие, то все написанное оказывалось неожиданным и интересным. Все предполагали, что старичок Пфайфер, знаменитый специалист-хлебопек, напишет о пекарнях. Но он написал рассказ «Как я заболел мокрым плевритом».

Надо сказать, что членам клуба льстило знакомство с известным писателем. Оно возвышало их над обитателями других палат, рядовыми шахматистами, фотолюбителями и разлагателями слов. Сколь ни мелок этот мотив, мы не можем умолчать о нем. Возможно, что старик Пфайфер был более знаменит среди хлебопеков, чем Патрикеев среди писателей, но о Патрикееве знали очень многие, а о Пфайфере знали только хлебопеки. Иначе и быть не

могло, ибо Пфайфер не ставил своего имени на хлебах, как Патрикеев на романах, хотя последние, быть может, и не были лучше выпечены, чем изделия доброго хлебопека.

Патрикеев и его скромный друг доктор были неразлучны: если один отправлялся любоваться прибором или смотреть на розовый куст, засыпанный снегом, за ним сейчас же отправлялся и другой. Истоки их дружбы никому не были известны; чувство ревности подсказывало членам клуба единственное объяснение: великие люди нередко обременены всякими друзьями детства, бывшими соучениками, соседями по парте, ныне провинциальными бухгалтерами или лекподами, не замечающими той пропасти, которая образовалась между ними и их знаменитыми сверстниками.

Было известно, что живут они в разных городах: Бойченко — в Ленинграде, Патрикеев — в Москве, но отпуск всегда проводят вместе. Это свидетельствовало о том, что дружба их отличалась пылкостью, свойственной юности, но редко наблюдаемой среди людей, которым перевалило за тридцать. Ни Патрикеев, ни Бойченко не были, однако, коренными жителями северных столиц. В их речи звучал тот неистребимый южный акцент, который позволяет безошибочно узнавать бывшего одессита в толпе ленинградцев и москвичей.

Дела клуба шли прекрасно, но однажды его ревностные члены были возмущены доктором Бойченко, который заявил, что ему не о чем писать. Особенно кипятились старичок Пфайфер и Нечестивцева, с большим успехом прочитавшая накануне новеллу, насыщенную интимной лирикой. Никакие уговоры не подействовали бы на застенчивого и упрямого доктора, если бы не вмешался его друг Патрикеев.

— Не верьте ему, — объявил председатель клуба, — у него больше сюжетов, чем у любого из нас. Володя, — обратился Патрикеев к приятелю, — почему бы тебе не написать о зеленом фургоне?

Через несколько дней Владимир Степанович Бойченко занял место по правую сторону камина и приступил к чтению своего рассказа.

## 1

Летом 1920 года население местечка Севериновки, Одесского уезда, с нетерпением ожидало нового начальника районного уголовного розыска. Севериновка в те годы была пыльным торговым местечком, с домами из желтого известняка и глины, с базарной площадью и рядами крытых рундуков на ней, с разрушенной экономией графа Потоцкого, церковью, киркой и синагогой. Процент самогонщиков и спекулянтов среди жителей местечка в те времена был настолько велик, что уголовный розыск являлся наиболее посещаемым и влиятельным учреждением в Севериновке. Естественно, что личность нового начальника интересовала всех.

К тому же откуда-то пошел слух, что уезд, обеспокоенный отчаянной репутацией местечка и бытовым разложением прежних начальников угрозыска, которых пришлось убирать из Севериновки одного за другим, решил наконец поставить на колени непокорных севериновцев и с этой целью посылает к ним из соседнего района работника особо подготовленного, человека твердого и даже беспощадного.

Еще никому из прежних начальников не удавалось надолго задержаться в Севериновке, а последний вынужден был исчезнуть, не успев даже справиться себе желтых сапог на высоком каблуке и белой козловой подклейке, с носком «бульдог», подколенными ремешками и маленьким раструбом вверху голенища. Ни в Яновке, ни в Петроверовке, ни в Кодыме, ни в самой Балте таких сапог шить не умели. Севериновцами было замечено, что этот фасон притягивает к себе начальников с такой же непреодолимой силой, с какой сказочного короля притягивала рубашка счастливого человека. И севериновцы умело использовали магическую силу желтых сапог. Как только в уезде узнавали, что очередной начальник не смог противостоять губительной страсти и принял в дар желтые сапоги, его вызывали в Одессу, выгоняли из розыска и отдавали под суд за взяточничество.

Новый начальник приехал в жаркий июльский день, когда Севериновка казалась почти безлюдной. Горячий ветер перекачивал по базарной площади вороха упавшей с возов соломы, улицы курились пылью, все было накалено и высушено до такой степени, что никого не удивило бы, если бы местечко, шипя и дымясь, начало тлеть. И если этого не случилось, то только благодаря тому, что раскаленное местечко охлаждала зыбкая топь, никогда не просыхавшая в центре площади, вокруг водопоя.

Новый начальник слез с брички и, побрякивая амуницией, поднялся по ступенькам в помещение уголовного розыска, где его встретила делопроизводитель Анна Семеновна Мурашко, дама лет тридцати пяти, одетая в розовое, фисташковое и кремовое, похожая издали на сладкое блюдо.

Анна Семеновна предъявила новому начальнику — она делала это уже не раз — книгу ордеров на арест и обыск, а также круглую печать и доложила, что в распоряжении районного розыска находятся серая кобыла Коханочка с кавалерийским седлом и ременной плеткой и младший милиционер Грищенко, ныне отсутствующий.

Начальник вернул Анне Семеновне книги и ордера, себе же взял круглую печать и ремennую плетку с рукояткой из заячьей лапы. Затем он вывел из стойла кобылу Коханочку, собственноручно возложил на нее кавалерийское седло и умчался в неизвестном направлении, даже не умывшись с дороги.

Внешность нового начальника, насколько ее можно было рассмотреть под густым слоем степной пыли, подтверждала худшие опасения севериновцев. Ему было всего лет восемнадцать, но в те времена людей можно было удивить чем угодно, только не молодостью. Он был угрюм, неразговорчив и мрачен. Принимая дела у Анны Семеновны, он не произнес и десяти слов. Сложная система ремней, цепочек и пряжек поддерживала на его талии крупнокалиберный кольт, висевший обнаженным, и две бомбы-лимонки, которые, ударяясь при ходьбе друг от друга, издавали звук, похожий на чоканье. На плече висел новенький японский карабин. Севериновцы решили, что этому человеку не знакомы ни страх, ни жалость.

В первые дни новый начальник ни с кем не знакомился и почти не слезал с Коханочки. Анна Семеновна, у которой накапливались неподписанные бумажки, выходила на крылечко и старалась перехватить начальника, когда он проносился через базарную площадь. Если ей это удавалось, начальник подъезжал к крылечку, не слезая с коня, прикладывая круглую печать к намазанной чернилами подушечке, которую подставляла ему Анна Семеновна, оттискивал печать на бумажке, подписывался и снова скрывался в клубках пыли.

Таинственные разъезды начальника еще более укрепляли севериновцев в их опасениях. — Зверь! — говорили о нем.

Но с течением времени новый начальник стал меньше разъезжать и занялся распутыванием кое-каких уголовных дел.

Помимо колта и бомб-лимонок, предназначавшихся для обороны и нападения, он привез с собой увеличительное стекло для разглядывания следов, оставляемых преступником на месте преступления, и карманное зеркальце, с помощью которого можно было, не оглядываясь, установить, не идет ли кто-нибудь сзади. К сожалению, перед отъездом из Одессы он не сумел раздобыть очков с дымчатыми стеклами, париков и грима, которые могли бы оказаться очень полезными в Севериновке.

Он был несколько разочарован, убедившись, что деревенские преступники не оставляют после себя тех улик и вещественных доказательств, которые, по всем правилам, должны были бы оставлять на месте преступления: волосков, прилипших к орудиям убийства, отпечатков пальцев, окурков, папиросного пепла и отпечатков подметок, которые позволяли бы судить о размерах обуви, походке, характере, имущественном положении и даже внешности правонарушителя. Преступники в Севериновке не оставляли после себя никаких следов. Как бы внимательно ни вглядывался он в свою лупу, он видел всегда одно и то же: мусор и какие-то щепочки.

Исключение представляли следы прикомандированного к розыску младшего



милиционера Грищенко. Грищенко обладал прекрасными английскими ботинками военного образца с круглыми шипами на подметке и каблуке. Такими ботинками три-четыре месяца назад торговали в Одессе белые и интервенты. Ботинки оставляли на дорожной пыли и грязи красивые отпечатки, позволявшие судить о передвижениях Грищенко по базарной площади. Отпечатки петляли по всей площади, пересекали ее во всех направлениях, но особенно густо было испещрено ими пространство вокруг рундуков, торговавших снедью. Учась понимать трудный язык следов, новый начальник часто бродил, опустив голову, по площади, вглядываясь в следы Грищенко и стараясь разгадать причины, которые побуждали младшего милиционера столь усердно колесить вокруг рундуков.

Грищенко очень понравился новому начальнику. Если бы природа захотела создать идеального младшего милиционера, она не смогла бы сделать его лучше. Грищенко обладал необыкновенными способностями в своем деле. Вскоре после приезда в Севериновку новый начальник поехал с ним в соседнее село, изобиловавшее самогонными заводами. Была лунная ночь, спящее село лежало у их ног. Разглядывая с пригорка панораму села, начальник испытывал серьезное затруднение. Он не знал, как отличить хаты, внутри которых работают самогонные аппараты, от хат, где этих аппаратов нет. К его удивлению, Грищенко, втянув ноздрями воздух, уверенно направил бричку в один из дворов, где они и обнаружили самогонный аппарат. Покончив с этим делом, они выехали на улицу, и Грищенко, снова понюхав воздух, обнаружил второй аппарат. Замечательное обоняние было у Грищенко! Он безошибочно улавливал запах дыма, выходящего из труб тех хат, где гнали самогон, никогда не смешивая его с дымом, который клубился над хатами, где пекли, например, хлебы. Он так тонко различал самогонный запах, что, нюхнув печного дыма, мог уверенно сказать, какой самогон гонят в хате: кукурузный, сахарный, сливовый, пшеничный или из меляса. К сожалению, необыкновенное обоняние Грищенко из-за каких-то атмосферных помех отказывалось действовать в Севериновке, чем только и можно было объяснить, что севериновские самогонщики до сих пор спасались от гибели.

Не менее замечательным было у Грищенко и осязание. На его правой руке сохранились только два пальца — указательный и мизинец, остальные были обрублены при неизвестных обстоятельствах. Всякий другой не смог бы показать и фигу столь изуродованной рукой, похожей на рогач, которым вытягивают из печки горшки. Грищенко же своей двупалой рукой творил чудеса. Погрузив ее в спекулянтский воз, он никогда не вытаскивал ее пустой. Его коричневые цепкие пальцы обязательно выуживали оттуда то квадратные куски подошвенной кожи, то верхний товар — головки, халявки или заготовки, то пачки с табаком, то осьмушки чая, то коробочки с сахарином, то еще что-нибудь из дефицитных предметов, запрещенных в те времена к вывозу из города. Слух о подвигах Грищенко пошел так далеко, что спекулянты стали объезжать Севериновку стороной. Что касается других младших милиционеров, хотя и пятипалых, но менее способных, то они считали сверхъестественную чувствительность грищенковских пальцев результатом его уродства: при ранении якобы были задеты какие-то нервы и сухожилия его правой руки, и это сообщило им почти электрические свойства.

Со своей стороны, Грищенко должен был признать превосходство нового начальника, как человека со средним образованием, в тех случаях, когда надо было составлять протоколы и акты осмотра найденных у дорог трупов.

В то беспокойное время трупы у дорог находили часто.

Новый начальник прекрасно составлял эти акты. Вначале он указывал положение трупа относительно стран света. Затем следовало описание позы, в которой смерть застигла жертву, и ран, которые ей были нанесены. Наконец, перечислялись улики и вещественные доказательства, найденные на месте преступления.

Обычно достоверно было известно только положение трупа относительно стран света: лежит он, например, головой к юго-востоку, а ногами к северо-западу или как-нибудь иначе. Но талант нового начальника проявлял себя с наибольшей силой именно там, где ничего не было известно. Несмотря на однообразие обстоятельств и мотивов преступлений — все это

были крестьяне, убитые на дороге из-за пуда муки, кожуха и пары тощих коней, — догадки и предположения, вводимые им в акты, отличались бесконечным разнообразием. В одном и том же акте иногда содержалось несколько версий относительно виновников и мотивов убийства, и каждая из этих версий была разработана настолько блестяще, что следствие заходило в тупик, так как ни одной из них нельзя было отдать предпочтения. В глазах начальства эти акты создали ему репутацию агента необыкновенной проницательности. В уезде от него ожидали многого.

Успехи нового начальника в этой области были тем более поразительны, что до приезда в деревню он никогда не видел покойников. В семье его считали юношей чрезмерно впечатлительным и поэтому всегда старались отстранить от похорон. Но что были корректные, расфранченные городские покойники по сравнению с этими степными трупами!

Грищенко был первым человеком в Севериновке, который разгадал характер нового начальника. От зоркого глаза Грищенко не укрылось, что каждый раз, когда молодому начальнику приходилось вступать в объяснения с Анной Семеновной, на загорелом лице его проступает легкая краска. Вскоре после этого Грищенко установил, что таинственные разъезды начальника на кобыле Коханочке не имеют никакого другого повода, кроме болезненной застенчивости, заставляющей его искать уединения, мучительно стесняться и избегать людей малознакомых; Грищенко понял, что под грозной внешностью начальника скрывается натура робкая, доверчивая и деликатная.

Недели через две все в Севериновке — и Грищенко, и Анна Семеновна, и виднейшие самогонщики местечка, любившие посудачить в свободные часы на крылечке уголовного розыска, — называли нового начальника по имени, Володей. Севериновцы поняли, что на этот раз дело обойдется даже без желтых сапог, которые они уже собирались справлять ему всем местечком. Самогонные заводы, остановленные было на текущий ремонт до выяснения характера нового начальника, задымили в Севериновке так, как они никогда еще не дымили.

## 2

Однажды Володя возвращался с Поташенкова хутора, куда его вызывали до пустяковому делу о краже кур и гусей. Осмотр курятника не дал ничего существенного. Картина деревенского преступления, как всегда, оказалась скудной и невыразительной. В ней не было ни одной детали, которая могла бы дать пищу воображению. Опустошенный сарайчик со следами недавнего пребывания в нем кур и гусей, сломанная дверка да несколько перьев, выпавших из петушиного хвоста в тот момент, когда злоумышленники извлекали птицу из курятника, — вот и все, что увидел Володя на месте преступления. Он составил протокол, приобщил перья к вещественным доказательствам и покинул хутор.

В этот день в Севериновке был базар, и Грищенко усердно подгонял лошадей. Грищенко очень любил базары. Лошади бежали проворной рысцой. Это была особая порода лошадей: мелкие, узкогрудые, животастые коники гнедой масти, они ничем не отличались бы от других лошадей, если бы не сургучные печати, привешенные к их жидким хвостам. Гнедые коники являлись вещественными доказательствами и в качестве таковых несли на себе номер дела и печати, подтверждающие их особое юридическое состояние.

Вещественные доказательства лишены свойств обыкновенных вещей. Их нельзя ни продавать, ни покупать, ни дарить, ни тем паче отчуждать в свою пользу. Однако в первые месяцы существования севериновского уголовного розыска вещественные доказательства как бы меняли свою юридическую природу. Происходило это благодаря единственному свойству, которое еще связывало эти предметы с круговоротом жизни: вещественные доказательства разрешалось выдавать во временное пользование. Это был патриархальный обычай, свято соблюдавшийся всеми предшественниками Володи. Такой порядок казался

совершенно естественным; Грищенко, например, даже был искренне убежден, что вся деятельность севериновской милиции должна сводиться к добыванию вещественных доказательств, что они — конечная цель всей работы уголовного розыска и милиции. К тому же он считал, что все в жизни временно, и все, чем мы располагаем в этом мире, по существу находится у нас во временном пользовании. Володя был очень смущен, когда восемь младших милиционеров во главе с Грищенко подали ему заявление: «Просим выдать во временное пользование по одному фунту постного масла из камеры вещественных доказательств».

Но еще больше был смущен сам Грищенко, когда узнал о реформе, намеченной Володей в отношении конфискованного самогона. Узнав от Володи о предстоящем уничтожении самогона, он неправильно истолковал намерения нового начальника и поэтому спросил, плотоядно хихикая:

— А закуска, товарищ начальник, е?..

Но ему пришлось увидеть небывалое: ароматная желтоватая струя лилась на землю; обертываясь в пыль, она растекалась длинными языками, орошая облюбованное милиционерами местечко в глубине двора, за сарайчиком, точно это не высокосортный первач, а бог знает что. И Грищенко, едва сдерживая стоны, должен был расписаться на «акте уничтожения». Затем наступила очередь самогонных баков и змеевиков, из которых многие поражали своим техническим совершенством. Это было воспринято в местечке как гибель культуры. Весть о необычайном событии разнеслась по району; вся округа погрузилась в горестное недоумение. Самогонщики были вне себя. Это ставило на голову всю их политику.

Обрадовался только местный доктор. Он сейчас же пришел к Володе и стал просить, чтобы конфискованный самогон передали в больницу, где давно уже не было спирта. С этого дня весь самогон шел в больницу.

Влекомая вещественными доказательствами, бричка уже въезжала в местечко, когда со стороны базарной площади послышалась стрельба. Через минуту мимо Володи и Грищенко промчался новый открытый зеленый фургон. Молодой парень стоял на нем во весь рост, широко расставив ноги в залатанных штанах. Балансируя на ухабах, он нахлестывал разъяренных вороных жеребцов. Едва Володя успел позавидовать этому умению жителя степи — сам он не смог бы устоять и на подводе, едущей шагом, — как зеленый фургон скрылся в клубах пыли. Грищенко задумчиво посмотрел ему вслед и, не ожидая распоряжений, погнал гнедых к базару.

Через минуту бричка выехала на площадь.

Базар был завален арбузами всех сортов — херсонскими, монастырскими, днепровскими, — венками репчатого лука, синими баклажанами, нежно-розовыми глиняными глечиками, в которых вода остается прохладной в самый жаркий день, новыми просяными вениками и другими малопитательными и недефицитными предметами. Это был, так сказать, видимый базар. Внутри этого видимого базара существовал другой базар — невидимый, который и являлся главным. На невидимом базаре торговали салом, сахаром, кожей. Это был нервный базар, с торговлей из-под полы, вспышками паники, конфискациями и неожиданной стрельбой, — базар тысяча девятьсот двадцатого года.

У въезда в постоялый двор гудела большая толпа. Из толпы навстречу бричке выскочил волостной милиционер Кондрат Жменя, запихивая на ходу новую обойму в свою трехлинейную винтовку.

Кондрат Жменя оглашал воздух бранью. Она сотрясала все его существо, мешая бежать, стрелять и говорить. Тем не менее, хотя и с помощью одних только ругательств, Жменя быстро и точно описал Володе происшедшее.

Только что, на глазах у всего народа, под носом у него, волостного милиционера Кондрата Жмени, в двух шагах от районной милиции и уголовного розыска, известный всему району дерзкий вор Красавчик угнал фургон и пару лошадей.

Володе не надо было объяснять, кто такой Красавчик. О поимке Красавчика он мечтал

со дня своего приезда в Севериновку. Едва услышав это имя, Володя выскочил из брички.

— Где стоял фургон? — спросил он взволнованно.

Он бросился к месту, указанному Жменей, упал на колени и стал разглядывать дорожную пыль сквозь увеличительное стекло. Толпа затихла и с уважением следила за его действиями. Вокруг стояли немцы в черных чиновничьих фуражках и двубортных твинчиках, из-под которых виднелись бархатные фиолетовые нагрудники; молдаване в длинных рубашках, расшитых красным и зеленым; украинские дивчины, замотанные белыми платочками по самые глаза; чинные местечковые самогонщики, одетые по-городскому. Володя видел только их сапоги, попадавшие иногда в фокус его двояковыпуклой линзы. Грищенко куда-то исчез. Володя ползал уже минуты две, но успел разглядеть только несколько непереваренных конскими желудками овсинок. От этого занятия его отвлек протиснувшийся сквозь толпу Грищенко.

— Що вы тут шукаете, товарищ начальник? Це ж одно смиття! — сказал он по-украински. Со всеми Грищенко разговаривал по-русски, а с Володей почему-то только по-украински. — Чи, може, вы шукаете тут вещественные доказательства? — добавил он.

В его словах звучал льстивый оптимизм, с помощью которого он старался отвлечь внимание начальника от зажатого под мышкой круглого румяного кныша; происхождение кныша не оставляло сомнений, а быстрота, с которой он появился, была почти сверхъестественной.

Но Володя как зачарованный продолжал разглядывать землю, на которой запечатлелся невидимый след преступления.

— Прямо счастье, что толпа не затоптала следы, — сказал он. — Они нам расскажут, куда скрылся Красавчик.

— Красавчик? — удивился Грищенко. — Да мы ж его бачили. До Одессы подался Красавчик.

— То есть, как — бачили? Почему до Одессы? — уставился на него Володя.

— Зеленый фургон у криницы мы бачили? Бачили. Хлопця на том фургоне мы бачили? Бачили. Так то ж Красавчик и був.

От изумления Володя чуть было не выронил увеличительное стекло.

— В погоню! — крикнул он и бросился к бричке.

— В каку погоню? — холодно спросил Грищенко, не трогаясь с места. — А коней напувать?

— Да ты же их напувал на хуторе? — удивился Володя.

Гнедые стояли понурившись. Их обвислые, старческие губы едва не касались широких, плоских копыт, рыжеватая шерсть была как бы побита молю, вместо хвостов торчали черные резиновые репки, почти лишенные волос. Понятие погони было чуждо их опыту и их физической организации. Гнедые занимали такое же место среди лошадей, как маневровый паровоз серии «фита» среди курьерских паровозов.

— Грищенко, — сказал Володя, сильно покраснев, — я приказываю тебе немедленно отправиться со мной в погоню.

Грищенко понял, что погоня неизбежна. Он засунул кныш в козлы, под сиденье, где хранились уздечки, цепной тормоз для спуска с крутого косогора и запасной шкворень; влез на сиденье и, глухо чертыхаясь, вытянул гнедых по бокам кнутовищем.

Через минуту бричка выкатилась на шлях, по которому они только что въезжали в местечко.

### 3

Грищенко безжалостно хлестал гнедых. Кнутовище с глухим стуком ударяло по их бугристым хребтам. Кони скакали тем вялым галопом, глядя на который встречные лошади не могут прийти в себя от изумления. Столь медленный галоп, несомненно, находился на грани невозможного. Высоко вскидывая то головы, то крестцы, гнедые колыхались над



дорогой, и со стороны никак нельзя было понять, мчатся они во весь карьер или плетутся шагом. Их тянуло назад, к камере вещественных доказательств, к овсу.

— Но-о, милицейская худоба! — кричал Грищенко, хлопая гнедых кнутовищем по угловатым крупам, по частоколу ребер и даже по черепах, издававшим кувшинный звон.

Но ему не удавалось выколотить из лошадей ничего, кроме пыли. Равнодушно отмахиваясь сургучными печатями, гнедые продолжали симулировать галоп. Грищенко стоял на передке в позе Красавчика; балансируя на ухабах, он широко замахивался на гнедых, гикал, свистел. Всем своим видом он изображал лихую погоню. Была ли в этом шуме и свисте какая-то фальшивая нота, понятная лошадям, или, быть может, между энергичным причмокиванием, поддерикиванием вожжей и взмахами кнута существовал какой-то разнобой, приводивший к тому, что каждое из этих действий как бы отменяло предыдущее, но скорости не прибавлялось.

Грищенко тянуло назад, в местечко, к туго набитым мужицким возам, к маленьким базарным радостям и удачам, от которых его так бессмысленно оторвали.

Когда бричка взобралась на бугор, Грищенко обернулся к Володе и показал вперед кнутовищем. По противоположному склону балки двигался зеленый фургон. Возница его нахлестывал лошадей. Володе страшно захотелось соскочить с брички, сбросить с плеча японский карабин, упасть на колено и пустить меткую пулю вдогонку беглецу. Но он постеснялся Грищенко; как-никак до фургона было километра два, и этот выстрел мог показаться Грищенко недостаточно солидным. Пока Володя боролся с сомнениями, зеленый фургон перевалил через бугор и исчез из глаз. Падать на колено было поздно.

Когда они взобрались на второй бугор, впереди уже никого не было видно.

Володя начал опрашивать встречных.

— Будьте любезны, скажите, пожалуйста, — вежливо обращался он к проезжему дядьку, — вы зеленый фургон и вороных жеребчиков по дороге бачили?

— Бачили, бачили, — отвечал дядько — вон за тим горбочком.

Дядько долго стоял на месте и смотрел вслед бричке. А погоня скакала дальше, пока не встречала другого дядька, и тот тоже после разговора с Володей застыл на месте и глядел ему вслед.

Уже много дядьков стояли как зачарованные на пыльном шляху, а Володя все продолжал расспросы.

— Простите, не побачили ли вы зеленый фургон с вороными жеребчиками? — спрашивал он, и все отвечали ему, что бачили.

Грищенко мрачно молчал, не желая облегчать переговоры с дядьками.

Чем ниже опускалось солнце, тем меньше дядьков попадалось им навстречу. Когда же бричка взобралась на третий горбочек, Володя и Грищенко уже ничего не увидели впереди, так как стало темно.

Из темноты навстречу бричке выехал длинный обоз.

В те времена люди по шляхам ночью не ездили. Селяне, купцы, извозчики-балагулы старались попасть на постоялый двор засветло. Если же сумерки настигали проезжего в пути, он останавливался и ждал попутчиков. Подъезжала одна подвода, потом другая, третья. И когда их собиралось много, они двигались шумным обозом. Так во время войны ходили по морям караванами торговые суда союзных держав, спасаясь от подводных лодок.

Лиц дядьков не было видно, только сигарки вспыхивали в темноте и сквозь скрип колес были слышны слова — то украинские, то болгарские, то немецкие. Володя опрашивал невидимых дядьков. Они тоже встречали одинокий фургон, но не могли сказать, был ли он зеленым.

Еще полчаса ехали Володя и Грищенко, никого не встречая. Проехав Ильинку, Грищенко остановил бричку, чтобы посвистать гнедым.

— Чуе? — спросил он, прислушиваясь к чему-то.

— Чую, — ответил Володя, думая, что вопрос относится к поведению лошадей.

Но Грищенко продолжал вслушиваться в степную тишину. Где-то звенели втулки

фургона. Звук то усиливался, то замирал, окраска его менялась: то он был похож на шум струи, льющейся из крана, то на комариное пение.

— Красавчик, — сказал Грищенко, ткнув в темноту кнутовищем.

Не раз удивлял он Володю своим необыкновенным слухом. По звону втулок он за три версты мог определить, едет ли фургон, или рессорный молочник, или арба, или бричка, или мажара. А в своей деревне, слыша далекий звон втулок, он мог даже сказать, чей фургон едет, чья арба, чей молочник.

Ильинка и Куяльницкий лиман, блеснувший где-то внизу, остались слева. Бричка спускалась в балку, к тому месту, где в нескольких саженях от дороги стоял остов сожженного грузовика. На всем шляху — от Одессы до самой Балты — не было места хуже. Придорожная верба у Ангелова хутора, гребля за Яновкой, погорелая Петроверовская экономия, могила у Ширяева и еще одна могила, поближе к Одессе — все эти опаснейшие места степного фарватера, известные всякому, кто ездил тогда по Балтскому шляху, не могли сравниться с этим зловещим грузовиком в балочке за Ильинкой.

Кругом зияли выходы из каменоломен. Неподалеку вытянулись нехорошие села Кубанка и Малый Буялык.

Грищенко остановил бричку и, громыхнув затвором, вогнал в ствол патрон. Володя торопливо сделал то же.

— Но, милицейская худоба! — сказал Грищенко негромко, и они двинулись вперед.

Володя сжимал карабин, едва сдерживая радость. Он убеждался, что храбр. Он склонялся к этой мысли и раньше, но, желая быть честным и требовательным к себе, откладывал окончательный вывод до проверки на деле. Володя спокойно вглядывался в темноту, и, хотя очертания грузовика казались ему более уродливыми и зловещими, чем обычно, рука его, ощущавшая влажное от вечерней сырости ложе карабина, была тверда.

Он даже почувствовал некоторое разочарование, когда убедился, что бандиты, по-видимому, решили не появляться этой ночью у грузовика. Но едва он подумал об этом, как Грищенко так резко осадил коней, что Володя, державший указательный палец на курке своего карабина, едва не выстрелил ему в спину.

Грищенко соскочил с козел и показал вперед дулом своего манлихера.<sup>1</sup> Володя тоже соскочил и, выставив вперед свой карабин, стал рядом с Грищенко.

— Бачите? — спросил тот Володю замороженным голосом.

— Ни, — ответил Володя почему-то по-украински. Грищенко присел на корточки. Володя присел рядом с ним и почти приник щекой к земле: так ночью в степи лучше видно — очертания предметов вырисовываются на светлом фоне неба.

— Якась зараза там на дороге качается, — прохрипел Грищенко.

Наконец и Володя увидел впереди что-то большое, черное. Черное пятно бесшумно двигалось то в сторону, то навстречу, угрожающе шевелилось. Иногда оно приподнималось над дорогой и несколько мгновений висело в воздухе, иногда застывало на месте. Они сидели на корточках довольно долго, но черное пятно не уступало дороги. Ничто не нарушало тишины. Наконец Грищенко встал, и они начали медленно продвигаться вперед.

Вдруг слабый, едва уловимый запах долетел до них. Грищенко выпрямился и матюкнулся. Они быстро пошли вперед, и чем ближе подходили к черному пятну, тем удушливее становился запах. Ночной мираж исчез. Пятно перестало качаться в воздухе и приняло определенные очертания. У обочины лежала дохлая лошадь с огромным вздувшимся животом. В тот год у дорог валялось много дохлых лошадей.

Они вернулись к бричке. Грищенко, растерев на ладони щепоть доморослого

---

<sup>1</sup> Манлихер — австрийская винтовка.

«самограя», свернул толстую сигарку. Желтое пламя зажигалки на секунду осветило ухабы и выбоины его щербатого лица.

— Чуете? — спросил он, затягиваясь. Где-то тонкой свирелью звенели втулки.

— Хоть бы какой-нибудь отпечаток, какой-нибудь след, какая-нибудь примета! — грустно сказал Володя.

Но у следствия не осталось ничего. Все следы, все отпечатки остались на месте преступления и погибли безвозвратно.

— Приметы? — сказал Грищенко. — Приметы я все бачив.

Он приставил палец к ноздре и звучно высморкался в степь; затем приставил палец к другой ноздре и высморкался еще раз.

— Заднее левое колесо новое, — сказал он наконец, — спицы не крашены. На задку — розочки... Жеребцы вороные, два аршина, два вершка, белые лысины, хвосты стрижены... Нарытники<sup>2</sup> немецкой работы, с бляшками... Ще що? Кони не кованы.

Володя оторопел. Он знал, что Грищенко обладает поразительным зрением, но то, что он сейчас услышал, превзошло все его ожидания. Сколько важных вещей сумел увидеть и запомнить этот человек, взглянув мельком на мчавшийся зеленый фургон, который пронесся мимо них и скрылся в клубах пыли, раньше чем он, Володя, успел заметить лицо преступника!

Догнать Красавчика не было никакой надежды. Грищенко сел на сиденье рядом с Володей, вынул из козел кныш и, разломив его пополам, угостил начальника.

Володя рассеянно принял угощение. В голове у него зрел план.

— Правь на Одессу, — сказал он после долгого раздумья.

Грищенко чмокнул. Усталые гнеды поплелись к Одессе.

Кныш оказался с гречневой кашей, печенкой и шкварками. Съев кныш, Володя и Грищенко задремали, зная, что гнеды сами найдут дорогу в город. Долго еще слышалось Володе далекое верещание, но он уже не знал, верещат это втулки Красавчика, или у него самого звенит в ушах. Бричка вздрагивала на ухабах, чокались друг о друга германские бомбы-лимонки, черный американский кольт, качаясь на ремешке, позвякивал о сталь японского карабина, а молодой начальник, прислонившись к плечу соседа, тихонько посапывал, словно дул в камышинку.

## 4

Как разгадать намерения преступника, если о них ничего не известно? Володя знал, что отвечает на этот вопрос теория и практика розыска: нужно поставить себя на место преступника.

Что сделал бы он, Володя, на месте Красавчика? Длинная цепь логических умозаключений привела Володю к выводу, что на месте Красавчика он заехал бы на ночевку в какой-нибудь постоялый двор на окраине Одессы.

Володя решил переночевать в Одессе, а рано утром тщательно осмотреть подозрительные постоялые дворы на Балковской улице. Таков был план, который он составил, жуя грищенковский кныш. Кстати, на завтра у него была назначена в Одессе встреча с агентом второго разряда Шестаковым по очень важному и совершенно секретному делу.

Если Грищенко в глазах Володи являлся олицетворением фронтовой доблести, то новый агент второго разряда Виктор Прокофьевич Шестаков, прибывший в Севериновку на неделю позже Володи, представлял собой зрелище более чем невзрачное. В Грищенко все говорило о подвиге; и короткая австрийская шинель, и тяжелый манлихер, который он носил на ремне прикладом вверх, и серьга в ухе, и знаменитая двупалая рука. Володя уважал

---

<sup>2</sup> Нарытник — шлея.

Грищенко за зрение, за слух, за обоняние, за осязание. Он уважал его за ботинки — знаменитые английские военные ботинки на шипах, весом по два с половиной кило каждый, ботинки героя.

А Шестаков, немолодой, болезненный человек, ходил по улице в деревянных сандалиях, дома же — босиком. Деревянные сандалии, называвшиеся в Одессе, стукалками, при ходьбе шелкали, как кастаньеты, и по этому шуму за километр можно было узнать о приближении детектива. Володя не раз с неудовольствием спрашивал Шестакова:

«Ну, а что вы будете делать со своими стукалками, Виктор Прокофьевич, если вам придется подкрадываться?»

И Виктор Прокофьевич смущенно отвечал:

«Тогда я их сниму и буду подкрадываться босиком».

В общем, сначала Володя недолюбливал Виктора Прокофьевича за стукалки, за седенькую проперченную эспаньолку, которая помешала бы ему заgrimироваться, если бы этого потребовала служба, за покатые плечи, которые делали его заведомо негодным для джиу-джитсу. Эгоизм восемнадцатилетнего здоровяка мешал Володе проникнуться сочувствием к болезням пожилого человека. Он не верил в существование катара желудка, диабета и камней в почках. Лицо Виктора Прокофьевича носило на себе следы всех болезней, свойственных его возрасту. Покрытое мешочками, припухлостями, складочками и извилинами, оно рассказывало о них, как оглавление о содержании книги. Одно веко у него часто подмигивало, и Володя думал сначала, что Виктор Прокофьевич подмигивает нарочно. Все свои болезни Виктор Прокофьевич разделял на внутренние и хирургические. Однако он не лечил ни те ни другие. Не признавая официальной медицины, он являлся последователем универсальной системы траволечения. Он применял ее много лет и главным аргументом в ее пользу считал тяжелое состояние своего здоровья. Чем хуже ему становилось, тем больше крепла его вера в систему траволечения. «Какова должна быть ее целебная сила, — говорил он, — если даже столь серьезные болезни не в состоянии ее победить?» Разруха лишила Виктора Прокофьевича необходимых ему лекарственных трав и снадобий. Но с прекращением траволечения здоровье его не ухудшилось. Объяснение этому нужно искать в явлении, отмеченном многими наблюдательными людьми: болезни, лишённые в суровую эпоху войны и голода того внимания, забот и ухода, которыми их обычно окружают, зачахли, захирели и потеряли былую власть над человеком. Верно это или нет, но Виктор Прокофьевич, скрипя и перемогаясь, нес службу. Он не был мнительным. Наоборот, он находил злорадное удовольствие в пренебрежении к своим болезням. Он не хотел их нежить в постели. Он заставлял их прозябать. И только катар желудка иногда брал над ним верх. Тогда он присаживался на корточки и, считая, что это ему помогает, пребывал в этой позе часами, пока не проходил приступ. Лицо его становилось беспомощным и немного виноватым. Все мешочки, припухлости и складочки выступали на нем еще более рельефно, чем обычно. «Забирает, собака!» — говорил он, как бы оправдываясь в своей слабости. С нетерпимостью первого ученика Володя осуждал и то, что можно назвать научными заблуждениями Виктора Прокофьевича. Не получив никакого образования, взявшись за чтение уже в пожилом возрасте, Виктор Прокофьевич пронес через всю жизнь бремя некоторых научных заблуждений, от которых ни за что не хотел отказываться.

Не человек произошел от обезьяны, а обезьяна от человека. Огурцы вредны. Писатель Алексей Толстой — сын Льва Толстого. Лучший в мире пистолет — наган солдатского образца. Арбузы чрезвычайно полезны. Евреи могут петь только тенором. Характер мышления зависит от состава пищи и т. д.

Желая отметить свое пятидесятидвулетие, Виктор Прокофьевич поехал в Одессу и купил себе в подарок гипсового коня. Володя иронически отнесся к этому поступку. С нечувствительностью человека, никогда не знавшего, что такое одиночество, избалованного привязанностью Друзей и родных, он осуждал маленькие чудачества и странности этого старого, заброшенного холостяка.

Но однажды Виктор Прокофьевич прогремел на весь уезд; он разыскал и вернул

потерпевшему пару украденных лошадей. Обнаружение украденных лошадей в те времена в уездном розыске считалось почти невозможным. Сам начальник уезда товарищ Цинципер поддерживал эту теорию. Виктор Прокофьевич, работавший в розыске всего лишь недели две, проявил в этом деле прямолинейность невежды. Пренебрегая самой элементарной разработкой, как был в деревянных стукалках, он поехал на ближайший конский рынок, где потерпевший и опознал своих кобыл.

С этого дня Володя стал подозревать в Викторе Прокофьевиче талант самородка, поселился с ним в одной комнате и в конце концов подружился со стариком. Он понял, что все научные заблуждения Виктора Прокофьевича, все его маленькие чудачества не могут заслонить двух его качеств: честности и здравого смысла. В свою очередь, Шестаков привязался к Володе. Это не была корыстная и насмешливая дружба Гриценко, а искренняя привязанность человека добродушного и бесхитростного.

Шестаков был старым метранпажем. Всю жизнь он простоял за талером в одной из типографий Рязани. Ровная и спокойная линия его судьбы под конец изобразила неожиданную закорючку: типографию ликвидировали, а его перебросили на работу в милицию. Как раз в это время в Рязани и уездных городах — Пронске, Егорьевске, Сапожке, Спаске — набирали милиционеров для посылки на Одещину, только что освобожденную от белых. Шестаков, считавший свои болезни действительными только при призывах в царскую армию, принял мобилизацию без возражений. Как был, в черной сатиновой рубашечке с перламутровыми пуговичками, подпоясанный шнурком, нацепив лишь большой милицейский нагрудный знак, он погрузился в теплушку и после двухнедельного путешествия вместе с тремястами пожилых рязанских милиционеров прибыл в Одессу. Все это были члены профессиональных союзов, люди непризывных возрастов, степенные и малоподвижные; в первое время им трудно было тягаться с многоопытными одесситами, которых стесняли рамки законности. Два качества, однако, делали их большой силой: верность и честность. Все знали: раз рязанец — значит, ничего не возьмет и никого напрасно не обидит.

В Одессе Шестакова перевели из милиции в уголовный розыск. Так старый метранпаж стал агентом уголовного розыска, так он променял Рязань, в которой прожил всю жизнь, на Одессу, и все это случилось раньше, чем типографская краска вымылась из-под его ногтей. Товарищ Цинципер внимательно отнесся к новому агенту, решил не бросаться им зря и поэтому направил его в Севериновку, так как считал, что именно здесь под руководством Володи тот приобретет наиболее глубокие знания в наиболее короткий срок.

Володя усердно занялся повышением квалификации Виктора Прокофьевича. Он заставил его прочитать учебник судебной медицины, ознакомиться с основами химии и даже проштудировать курс дактилоскопии, хотя севериновский уголовный розыск и не располагал еще ни дактилоскопическим кабинетом, ни преступниками, которые могли бы оставлять в нем отпечатки своих пальцев. С присущим ему уважением к книгам Виктор Прокофьевич читал все, что ему давал Володя; он внимательно выслушивал историю о баскервильской собаке и с интересом разглядывал сквозь лупу строение текстильных тканей, эпидермис кожи и человеческие волосы различных групп, добываемые Володей у младших милиционеров. При этом он думал то, что должен был думать старый, благоразумный типограф, знающий и видящий многое такое, чего нельзя разглядеть в самую сильную лупу. Однажды вечером, сидя по обыкновению на корточках у стены и дымя козьей ножкой, он сказал Володе:

— Как хотите, Володя, а мое мнение такое: главное в нашем деле — не ползанье на четвереньках с увеличительным стеклом, а поддержка населения. Кого больше — честных людей или жуликов? Если все честные люди возьмутся нам помогать, мы скоро останемся без работы.

Он стал разъезжать по комитетам незаможников, деревенским ячейкам комсомола, всеобучам, делал доклады в волостных ревкомах и тихо и незаметно, без шума и стрельбы, изрядно почистил за месяц несколько деревень вокруг Севериновки.



Благодаря Виктору Прокофьевичу в камере арестованных североинского уголовного розыска наконец затеплилась жизнь. Он обнаружил преступников там, где Володе никогда не пришлось бы в голову их искать: в самой североинской раймилиции. Он извлек оттуда целую плеяду взяточников и даже, невзирая на протесты Володи, стал подбираться к Грищенко.

Отрицать успехи Виктора Прокофьевича Володя не мог, но применяемые им методы он считал кустарными. «Это все равно, что красивое пение без школы», — говорил он. Шестаков между тем, ободренный удачами, поставил перед собой задачу, которую Володя считал непосильной даже для себя. Он решил поймать знаменитого бандита Сашку Червня. Поимка Червня и была тем важным и совершенно секретным делом, ради которого у Володи было назначено свидание в Одессе с Виктором Прокофьевичем.

## 5

Володя приехал домой поздно ночью, бросился в чистую постель, приказал, чтобы его разбудили ровно без двадцати минут шесть, и моментально уснул.

Ровно без двадцати шесть мать разбудила Володю. За годы его ученья она приучила себя просыпаться в заказанное сыном время с точностью до одной минуты. Если бы это понадобилось Володе, она могла бы проснуться в шесть минут пятого или без семнадцати три.

Проснувшись, Володя, по старой привычке, нежилась минут пятнадцать в постели, хотя и сознавал, что каждая минута промедления может оказаться губительной для дела.

Эти пятнадцать минут были наполнены приятными размышлениями. Володя вспомнил, что отвечает за пять волостей, и эта мысль доставила ему удовольствие. Он повторил про себя названия своих волостей: Североинская, Бельчанская, Фестеровская, Куртовская, Буялыкская. Он представил себе их очертания на географической карте. Фестеровская волость была похожа на маленькую Италию, а весь район — на распластанную телячью кожу. Володя вспомнил улицы, площади, рощи и баштаны знакомых сел, помечтал о неизвестных землях и неисследованных хуторах на окраине района, где он еще не успел побывать.

Володя полюбил деревню так, как может полюбить ее только закоренелый горожанин в семнадцать лет. Поездка в незнакомое село радовала его, как географическое открытие. Володю влекло туда, где не ступала еще его нога. За каждым горбчком, за каждой рощей перед ним открывались неизвестные страны. В бричке он становился путешественником. Ему нравился самый процесс езды: в бричках ездили ответственные работники. В пути разморенный зноем и монотонным покачиванием, Володя любил наблюдать, как мелькает заклепка на ободе колеса, как вздрагивает на ухабах проеденное ржой крыло брички, как подпрыгивает съехавший на спину наган Грищенко, сидящего на козлах. Он с гордостью думал, что все это движение совершается ради него. От него зависит, куда ехать. Везут его, Володю. Ради него, Володи, вертятся колеса, семят гнедые коники и Грищенко размахивает кнутом.

Тщеславие, простительное в человеке, который еще не привык быть взрослым, иногда побеждало врожденную Володину скромность. В глубине души он сознавал, что носит кольт обнаженным не потому, что это удобно, а потому, что это приятно. Не менее приятно было ставить на бумаге круглую печать. Иногда он оттискивал ее и на тех бумагах, где достаточно было углового штампа. В протоколах допроса ему нравилась заключительная фраза: «Больше ничего показать не имею, в чем и расписываюсь». Ему импонировала и общая конструкция фразы и особенно глагол «не имею». Ему казалось, что это слово превосходно отражает ту крайнюю степень опустошенности, какую являет собой обвиняемый в результате искусного допроса — обессиленный, дрожащий, открывший все свои мрачные тайны, раздавленный неумолимой логикой следователя.

Но больше всего Володя любил расхаживать по базару меж возов и ловить на себе

почтительные взгляды приезжих хозяев. Иногда он подходил к ним и проверял их документы и конские карточки. Дядьки были большей частью совершенно мирные, и документы их оказывались в полном порядке. Володя уходил от возов, чувствуя свою вину перед дядьками; он был молод и не догадывался, что дядьки им весьма довольны. Довольны же они были потому, что испытывали радостное ощущение миновавшей опасности. Сохраняя монументальную неподвижность, которая позволяла догадываться о том, что они сидят на продуктах, привезенных для продажи и спрятанных где-то в глубине фургонов, под мешками с сечкой, под овчинами, ряднами и соломенной трухой, хозяева еще долго смаковали воспоминание о неприятностях, которые могли с ними произойти, но не произошли; а Володя в это время шагал в другом конце базара, пристально вглядываясь в лица дядьков и чувствуя на себе их почтительные взгляды.

Володя гордился не только своей работой, но и своими друзьями: верным Шестаковым и смельчаком Грищенко. Но его очень огорчала неприязнь, которую питали друг к другу эти превосходные люди. Действительно, им трудно было сойтись — уж очень они были различны. Шестаков был совершенно равнодушен к вещественным доказательствам, Грищенко обожал обыски и конфискации. Шестаков был близорук, кособок и немного смешон; Грищенко был строен, могуч и ловок, как Кожаный Чулок. Только один раз мелькнула надежда, что они сойдутся во взглядах: совершенно случайно выяснилось, что Грищенко так же, как Шестаков, является горячим сторонником траволечения. Увы! Грищенко считал, что все травы нужно настаивать на водке. Он даже рассматривал последнюю как главный ингредиент целебного настоя. Это вызвало, конечно, горячие возражения со стороны Виктора Прокофьевича и в конце концов еще более отдалило друг от друга Володиных друзей.

Итак, Володя нежился в постели, но, вспомнив о Балковской, он вскочил на ноги. Он одевался, умывался и завтракал с такой стремительностью, что уже через десять минут был совершенно готов. Нацепив на себя колты и торопливо чмокнув мать, он побежал к Шестакову.

Володя избегал приподнимать завесу над своим прошлым. Биография была его больным местом.

В каждом гвоздике грищенковских ботинок, в каждой рябине его изрытого оспой лица было больше героизма, чем во всем Володином прошлом. Кто бы мог подумать, что за спиной начальника севериновского уголовного розыска нет ничего, кроме гимназии! Что человек, приводивший в трепет целое местечко, еще два месяца назад был гимназистом седьмого класса? Но это было так. По молодости лет Володя еще ни с кем не воевал: ни с белыми, ни с петлюровцами, ни с махновцами, ни с григорьевцами. Он не был ни на одном из фронтов и две собственные бомбы-лимонки, привезенные им с собой в Севериновку, он выменял у знакомого пятиклассника на фотоаппарат, полученный от папы в день рождения.

Он попал в уголовный розыск по знакомству. Друг отца, помощник присяжного поверенного Цинципер, подвергавшийся репрессиям при царизме, был назначен Советской властью начальником уездного уголовного розыска. Товарищ Цинципер, человек городской, гуманитарного воспитания, никогда до этого назначения в деревне не бывал, если не считать выездов на дачу в Гниляково. Из крестьян он знал только молочниц. Вероятно, ему никогда не приходилось видеть и преступников. Он не встречал их даже в качестве подзащитных, ибо из-за радикальных убеждений при старом строе был лишен практики. Однако назначение товарища Цинципера не было ошибкой. Дело в том, что у Советской власти совершенно не было специалистов по уголовному розыску. Специалисты были лишь из старого сыска от деления, но их не только нельзя было привлекать к работе, но, наоборот, полагалось разыскивать и сажать. И получилось почему-то так, что больше всего в уездном уголовном розыске оказалось присяжных поверенных; на втором месте были гимназисты, затем шли педагоги, зубные врачи и прочие лица, отбившиеся от своих профессий, лица совсем без определенных занятий и, наконец, просто лица, искавшие случая поехать в деревню за продуктами. Среди них затерялась кучка пожилых рязанских милиционеров и

несколько рабочих-коммунистов, присланных укомом партии. Таков был уголовный розыск, которому предстояло победить преступность на родине Мишки Япончика.

Володин отец не был в восторге от того, что товарищ Цинципер принял на службу его сына. Отец всегда мечтал о том, что Володя пойдет на филологический факультет Новороссийского университета. Мальчик лучше всех в классе писал сочинения и редактировал гимназический журнал «Следопыт». Правда, могло быть еще хуже. Конечно, уголовный розыск — это не филологический факультет. Но каково было одному из его знакомых, чей сынок пошел в воры?

Три с лишним года Одессу окружала линия фронта. Фронт стал географическим понятием. Казалось законным и естественным, что где-то к северу от Одессы существуют степь, леса Подолии, юго-западная железная дорога, станция Раздельная и станция Перекрестово, река Днестр, река Буг и — фронт. Фронт мог быть к северу от Раздельной или к югу от нее, под Бирзулой или за Бирзулой, но он был всегда. Иногда он уходил к северу, иногда придвигался к самому городу и рассекал его пополам. Война вливалась в русла улиц. Каждая улица имела свое стратегическое лицо.

Улицы давали названия битвам. Были улицы мирной жизни, улицы мелких стычек и улицы больших сражений — улицы-ветераны. Наступать от вокзала к думе было принято по Пушкинской, между тем как параллельная ей Ришельевская пустовала. По Пушкинской же было принято отступать от думы к вокзалу. Никто не воевал на тихой Ремесленной, а на соседней Канатной не оставалось ни одной непростреленной афишной тумбы. Карантинная не видела боев — она видела только бегство. Это была улица эвакуации, панического бега к морю, к трапам отходящих судов.

У вокзала и вокзального скверика война принимала неизменно позиционный характер. Орудия били по зданию вокзала прямой наводкой. После очередного штурма на месте больших вокзальных часов обычно оставалась зияющая дыра. Одесситы очень гордились своими часами, лишь только стихал шум боя, они спешно заделывали дыру и устанавливали на фасаде вокзала новый сияющий циферблат. Но мир длился недолго; проходило два-три месяца, снова часы становились приманкой для артиллеристов; стреляя по вокзалу, они между делом посылали снаряд и в эту заманчивую мишень. Снова на фасаде зияла огромная дыра, и снова одесситы поспешно втаскивали под крышу вокзала новый механизм и новый циферблат. Много циферблатов сменилось на фронтоне одесского вокзала в те дни.

Так три с лишним года жила Одесса. Пока большевики были за линией фронта, пока они пробивались к Одессе, городом владели армии австро-германские, армии держав Антанты, белые армии Деникина, жовтоблукитная армия Петлюры и Скоропадского, зеленая армия Григорьева, воровская армия Мишки Япончика.

Одесситы расходились в определении числа властей, побывавших в городе за три года. Одни считали Мишку Япончика, польских легионеров, атамана Григорьева и галичан за отдельную власть, другие — нет. Кроме того, бывали периоды, когда в Одессе было по две власти одновременно, и это тоже путало счет.

В один из таких периодов произошло событие, окончательно определившее мировоззрение Володиного отца.

Половиной города владело войско украинской директории и половиной — Добровольческая армия генерала Деникина. Границей добровольческой зоны была Ланжероновская улица, границей петлюровской — параллельная ей Дерибасовская. Рубежи враждующих государственных образований были обозначены шпагатом, протянутым поперек улиц. Квартал между Ланжероновской и Дерибасовской, живший меж двух натянутых шпагатов, назывался нейтральной зоной и не имел государственного строя.

За веревочками стояли пулеметы и трехдюймовки, направленные друг на друга прямой наводкой.

Чтобы перейти из зоны в зону, одесситы, продолжавшие жить мирной гражданской жизнью, задирали ноги и переступали через веревочки, стараясь лишь не попадать под дула орудий, которые могли начать стрелять в любую минуту. Однажды и Володин отец, покидая

деникинскую зону, занес ногу над шпагатом, чтобы перешагнуть через него. Но, будучи человеком немолодым и неловким, он зацепился за веревочку каблук и оборвал государственную границу. Стоявший поблизости молодой безусый офицер с тонким интеллигентным лицом не сказал ни слова, но, сунув папироску в зубы, размахнулся и ударил Володиного отца по лицу. Это была первая оплеуха, полученная доцентом медицинского факультета Новороссийского университета за всю его пятидесятилетнюю жизнь.

Почти ослепленный, прижимая ладонь к горячей щеке, держась другой рукой за стену, он побрел, согнувшись, к Дерибасовской и здесь, наткнувшись на другую веревочку, оборвал и ее. Молодой безусый петлюровский офицер с довольно интеллигентным лицом развернулся и ударил нарушителя по лицу. Это была уже вторая затрещина, полученная доцентом на исходе этой несчастной минуты его жизни. Когда-то он считал себя левым октябристом, почти кадетом; он заметно полевел после того, как познакомился с четырнадцатью или восемнадцатью властями, побывавшими в Одессе; но, получив эти две оплеухи, он качнулся влево так сильно, что оказался как раз на позициях своего радикального друга Цинципера и сына Володи.

Город просыпался, когда Володя выбежал на улицу. Улицы были пустынные, солнце еще пряталось за крышами домов, сыроватый воздух был по-ночному свеж. Однако это не был нормальный утренний пейзаж мирного времени. Это не было пробуждение города, который плотно поужинал, хорошо выспался, здоров, спокоен и рад наступающему дню. Не было видно пожилых дворников в опрятных фартуках, размахивающих метлами, как на сенокосе, и румяных молочниц, несущих на коромыслах тяжелые бидоны с молоком; не гудел за поворотом улицы первый утренний трамвай; подвалы пекарен не обдавали жаром ног прохожих, и забытая электрическая лампочка не блестела бледным золотушным светом на фоне наступившего дня. Никто не подметал Одессу, никто не поил ее молоком. Уж год не ходили трамваи, давно не было в городе электричества, а в пекарнях было пусто.

Но утро есть утро, и город есть город. И как ни скуден был пейзаж просыпающейся Одессы, в нем были свои характерные черты. Заканчивая свои ночные труды, молодые одесситы спиливали росшие вдоль тротуаров толстые акации. Они занимались этим по ночам не столько из страха ответственности, сколько из чувства приличия и почтения к родному городу. Когда любимые дети обкрадывают родителей, они боятся не уголовного наказания, а общественного мнения.

Стволы и ветки акации тут же, на тротуаре, распиливались на короткие чурбанчики, которые складывались пирамидками на перекрестках. Через час сюда придут домашние хозяйки и будут покупать дрова для своих очагов. Дрова продавались на фунты, и каждый фунт стоил десятки тысяч рублей. В эти дни погибла знаменитая эстакада в одесском порту. Одесситы гордились ею не меньше, чем оперным театром, лестницей на Николаевском бульваре и домом Попудова на Соборной площади. О длине и толщине дубовых брусьев, из которых она была выстроена, в городе складывали легенды. Будь эти брусья потоньше и похуже, эстакада, возможно, простояла бы еще десятки лет. Но в дни топливного голода столь мощное деревянное сооружение не могло не погибнуть. Эстакаду спилили на дрова. Еще несколько месяцев назад жители заменяли дрова жмыхами, или, как их называли в Одессе, макухой. Теперь же макуха заменяла им хлеб. Одесситы, гордившиеся всем, что имело отношение к их городу, переносили это чувство даже на голод, который их истреблял, утверждая, что подобного голода не знала ни одна губерния в России, за исключением Поволжья.

Белинская улица, потерявшая за последние недели все свои великолепные акации, казалась Володе просторной и пустой, как комната, из которой вынесли мебель. Стекла в окнах домов были оклеены бумажными полосами. Опыт показал домашним хозяйкам, что эти бумажки предохраняют стекла от сотрясения воздуха во время артиллерийских обстрелов, бомбардировок с моря и взрывов пороховых погребов.

Пробежав Белинскую улицу почти до конца, Володя вошел во двор большого бедного



дома на углу Базарной. Здесь остановился Шестаков.

6

Червень, которого сегодня собирался арестовать Виктор Прокофьевич, был не менее знаменит, чем Красавчик, а во многих отношениях даже превосходил его. Если мелких жуликов бывший метранпаж называл непарелью, то такие бандиты, как Червень, заслуживали сравнения с афишным шрифтом самых крупных кеглей.

Бывший прапорщик Сашка Шварц, известный под кличкой Червень, что значит июнь, был одним из опаснейших бандитов в уезде. Это ему принадлежал знаменитый афоризм: «Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним».

— Если вам захотелось выстрелить, — говорил Сашка Червень, — то делайте это так, чтобы после вас уже не мог стрелять никто... А для этого советую всегда стрелять первым. Никогда не сомневайтесь, нужно ли стрелять. Сомнение есть повод для стрельбы. Не стреляйте в воздух. Не оставляйте свидетелей. Не жалейте их, ибо и они вас не пожалеют. Живой свидетель — дитя вашей тупости и легкомыслия.

Не кто иной, как Сашка Червень, изобрел знаменитый прием — стрелять сквозь шинель. Руки его всегда были в карманах, в каждом кармане лежало по пистолету, и у обоих пистолетов курки были на взводе.

Червень стрелял из карманов в живот врагу. Еще ни один человек не успел сказать ему «руки вверх».

План поимки Червня, разработанный Виктором Прокофьевичем, был очень прост. Этот план не отличался тонкостью, в нем не было той прозорливости, которая так нравилась товарищу Цинциперу в Володиных протоколах. Товарищ Цинципер потирал руки от удовольствия, получая Володины протоколы, и не мог оторваться от них, не дочитав до конца. Он не подозревал, что в Севериновке у него сидит не Шерлок Холмс, а Конан Дойль.

Виктор Прокофьевич писал свои протоколы красивым косым, но мало разработанным почерком, долго замахиваясь пером перед каждым нажимом; в его дознаниях не было ничего, что могло бы обратить на себя внимание товарища Цинципера. Простым и заурядным показался Володе и проект поимки Червня, составленный Виктором Прокофьевичем.

Однажды в камеру арестованных севериновского розыска был заключен мелкий вор Федька Бык, избалованный в краже цепей с общественных водопоев в Севериновке и Яновке. Бык был арестован на шляху. Он брел, сгибаясь под тяжестью своей добычи, которую тщетно пытался продать в течение нескольких дней. Бык даже обрадовался аресту, освободившему его от цепей, которые, возможно, ему пришлось бы носить на себе еще долго. Однако, когда с преступника сняли цепи, он отказался признать свою вину. Он отпирался лениво и неубедительно, лишь отдавая дань традиции. Он утверждал, что нашел цепи на дороге.

Цепи были переданы в камеру вещественных доказательств, а расследование дела поручено Виктору Прокофьевичу. Заметив отвращение, которое оставило в Быке его последнее преступление, Виктор Прокофьевич не ограничился снятием обычных показаний, но стал уговаривать вора вернуться к честной жизни. Он подолгу сидел с Быком в камере арестованных — маленьком глинобитном домике в глубине двора, где помещалась милиция. Он убеждал его порвать с преступным миром и стать честным человеком. Бык был польщен вниманием, которое ему оказывали, и проникся глубоким уважением к Виктору Прокофьевичу. Он согласился не столько из любви к свободе — часто попадаясь на мелких кражах, он был к ней довольно равнодушен, — сколько из уважения к Виктору Прокофьевичу. Даже в те короткие промежутки времени, когда Бык пользовался свободой, мысли его были в тюрьме. Стоило ему во время прогулки немного призадуматься, как ноги его сами сворачивали на мостовую, по которой он привык передвигаться, сопровождаемый стражей. Привычка к конвою так укоренилась в нем, что чувство какой-то пустоты вокруг не



покидало его все время, пока он вынужден был путешествовать в одиночестве.

Склонный, как все воры, к широкому жесту, к поступкам эффективным и сентиментальным. Бык предложил ознаменовать свой разрыв с преступным миром выдачей Сашки Червня, которого часто встречал на Ставках, в пригороде Одессы.

Для этого нужно было выпустить Быка на свободу. Однако Володя воспротивился этому. Во-первых, он не хотел прощать Быку колодезные цепи; во-вторых, он дорожил каждой единицей, населявшей маленькую и часто пустовавшую камеру арестованных севериновского уголовного розыска. Но Виктор Прокофьевич с такой энергией защищал этот план, что Володя сдался, и Бык был освобожден.

Прошло недели три, и вот накануне того дня, когда Красавчик угнал из Яновки зеленый фургон, в Севериновку прибыло известие от Федьки Быка. Он сообщал Шестакову, что через два дня Червень встретится в «малине» на Ставках с одним из своих друзей. Было решено, что в аресте Червня примут участие все силы севериновского уголовного розыска: Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко. Виктор Прокофьевич готовился к операции особенно тщательно: долго изучал план дома, двора и прилегающих к «малине» улиц, нарисованный Быком, занял у начальника милиции, в добавление к собственному, наган солдатского образца, насобирал у сотрудников полшапки патронов к нему и даже обулся в новые черные ботинки, которые обычно лежали у него в чемоданчике. За день до встречи Володи с Красавчиком Шестаков отправился в Одессу. Виктор Прокофьевич был уже одет, когда к нему постучался Володя. Выслушав его взволнованный рассказ о неудачной погоне за Красавчиком, Шестаков сказал неодобрительно:

— Зачем же поехали на вещественных? Надо было запрячь Коханочку и начмиловского Горобца. Ох, доберусь я до вашего Грищенко!

Защищать Грищенко у Володи не было времени. Им предстояло обсудить два важных вопроса: о розыске Красавчика и засаде на Червня.

Виктор Прокофьевич развернул план Одессы. Жирной карандашной линией, пересекавшей весь город, на нем была обозначена дорога на Ставки. Самих Ставков на карте не было — они не вмещались в ней, ибо были дальше самых далеких окраин. Однако Виктор Прокофьевич успел за вчерашний день побывать на Ставках и поглядеть издали на «малину» Червня. Затем он показал Володе подробный план двора и дома, где помещалась эта «малина»; на длинной стороне прямоугольника, изображавшего дворовый флигель, немного левее ее середины, был нарисован жирный крест. В этом месте, у стены» Бык должен был поставить лопату — знак того, что Червень здесь. Отсутствие лопаты должно было обозначать, что Червень почему-либо не пришел или опоздал. Однако, по словам Быка, Червень должен был явиться сегодня непременно.

Володя пробыл у Виктора Прокофьевича не более пяти минут, но за этот короткий срок, как это бывает у людей, хорошо сработавшихся и понимающих друг друга с полуслова, они успели обсудить все, что нужно. В результате этого обсуждения Володя набросал на клочке бумаги план на сегодняшний день. В нем было два пункта и два примечания:

1. С утра Володя идет на Балковскую осматривать постоянные дворы; Виктор Прокофьевич беседует у себя с Федькой Быком.  
Примечание: Грищенко до обеда отдыхает.
2. После обеда, независимо от того, удастся поймать Красавчика или нет, они отправляются на Ставки — ловить Червня.  
Примечание: Грищенко сопровождает их на Ставки.

Покончив с планом, Володя попросил у Виктора Прокофьевича пальто. Он брал у него пальто всякий раз, когда собирался переодеться, чтобы остаться неузнанным. В нем было

жарко и тесно; это было воскресное пальто пожилого рабочего — черное с бархатным воротником. Но служебное рвение не раз заставляло Володю прибегать к такой маскировке в самые знойные июльские дни. Севериновские самогонщики, любившие посудачить в свободное время на завалинке у входа в угрозыск, видя начальника в пальто Виктора Прокофьевича, из вежливости не здоровались с ним — они притворялись, что не узнают Володю. «Пошел на операцию», — шептали они друг другу, глядя вслед молодому начальнику.

Володя попрощался с Виктором Прокофьевичем и уже был на площадке лестницы, когда тот снова окликнул его. Прикрыв за собой дверь, он близко подошел к Володе.

— Не забудь взять на Ставки свои лимонки, — сказал он тихо и очень серьезно.

## 7

Подняв узкий бархатный воротничок пальто и тщетно стараясь спрятать в нем свое лицо, Володя вышел на улицу. Чтобы попасть на Балковскую, ему нужно было пройти через весь город.

Володя опасался встреч со знакомыми. Его девизом было: агент знает и видит все, но никто не знает и не видит агента. Особенно опасен был район гимназии, где он еще недавно учился. Этот район буквально кишел знакомыми. Мужская гимназия помещалась в конце Успенской улицы; ее можно было обойти, но тогда Володе пришлось бы приблизиться к женской гимназии Бален-де-Балю, что на Канатной. Район женской гимназии был для Володи не менее опасен.

Володя решил проскользнуть меж двух гимназий, пройдя по Маразлиевской улице. Это была однобокая улица; дома вытянулись по левой ее стороне, а справа раскинулся Александровский парк. Маразлиевская была улицей богачей; перемены военного счастья на фронтах революции рождали в ней то радость, то горе, то отчаяние, то надежду, и в этом она была подобна улицам бедняков. Сейчас Маразлиевская с ее особняками и домами дорогих квартир казалась самой заброшенной, безлюдной и печальной улицей в городе.

Оглядываясь по сторонам, Володя быстро шел по Маразлиевской, задавая себе все тот же вопрос, который диктовали ему теория и практика розыска: что делал бы он сейчас, если бы оказался на месте Красавчика? Он старался представить себе все, что способен родить порок и преступление. Однако то, что рисовало его воображение, было бесцветным и неопределенным.

Володя уже миновал опасную зону гимназий, когда с ним поравнялся высокий парень лет восемнадцати. На нем были щегольские брюки «колокол», которые отличались от родственных им брюк клеш тем, что были еще шире внизу и еще уже сверху, и короткая черная куртка, которая могла сойти и за матросский бушлат и за твинчик немецкого колониста. Несмотря на жаркий день, воротник его куртки был поднят и он старался спрятать в нем свое лицо. Он шел, глядя прямо перед собой и не обращая внимания на прохожих.

Его бронзовая твердая скула показалась Володе знакомой. Если бы парень случайно не покосился на Володю, эта встреча не имела бы последствий и Володе, вероятно, удалось бы сохранить свое инкогнито до самой Балковской. Но, поймав на себе быстрый, рассеянный взгляд малознакомого молодого человека, Володя с торопливостью, свойственной застенчивым людям, поклонился ему.

— Ваша карточка мне знакома, — сказал парень учтиво, прикасаясь двумя пальцами к кепке. — Не zapomню только, из какого она альбома.

— Мы знакомы по Черном морю, — ответил Володя. Они были знакомы не по тому Черному морю, которое омывает полуостров Крым, побережье Кавказа, Малую Азию, Болгарию, Румынию и южный край украинской степи, а по тому «Черному морю», которое находилось в ста шагах от Маразлиевской, за низеньким, уступчатым заборчиком Александровского парка и представляло собой большую, почти круглую яму с пологими

склонами и ровным, сухим дном. «Черным морем» с незапамятных времен владела команда футболистов, именовавших себя черноморцами. Как футбольное поле «Черное море» было необыкновенно комфортабельным: окруженное пологими склонами, оно само возвращало игрокам мяч, вылетевший за его пределы. В команде черноморцев играли портовые парни, молодые рыбаки с Ланжерона и жители старой таможни. Они выходили на поле в полосатых матросских тельниках и длинных, достигавших колен, старомодных трусиках, которые, впрочем, назывались тогда в Одессе не трусиками, а штанчиками. В своем натиске черноморцы не знали преград. Свирепая слава, добытая ими на заре футбола, в боях с командами английских пароходов, устрасала футболистов других одесских команд. Никто из цивилизованных футболистов Одессы не решался ставить на карту спортивное счастье, здоровье, а может быть, и жизнь, защищая свои ворота против черноморцев. Поэтому с той поры, как в одесский порт перестали заходить английские пароходы, черноморцы играли главным образом друг с другом.

Володя был из «Азовского моря». Рядом с «Черным морем» была яма поменьше, которую одесские мальчики называли «Азовским морем». Здесь тренировалась команда гимназистов. Как это ни странно, черноморцы иногда приглашали на товарищеский матч команду из соседнего «моря» и гимназисты принимали вызов. Это была игра львов с котятками. Если гимназистам не откусывали в игре ни ног, ни голов, то они были обязаны этим той деликатности, которая присуща сильному в обращении со слабым и беспомощным.

Володя был левым инсайтом у гимназистов, а высокий парень — голкипером у черноморцев. В те времена высокие голкиперы ценились еще больше, чем сейчас. Обычно ворота обозначались кучками одежды, сброшенной с себя футболистами перед игрой, и верхняя граница ворот являлась воображаемой; естественно, что, чем выше мог достать своей пятерней голкипер, тем спокойнее чувствовала себя команда. Парень в брюках «колокол» был самым высоким голкипером в командах «обоих морей».

Но уже давно не летал футбольный мяч над «Черным морем» и примыкающим к нему «Азовским». Обезлюдено славное племя черноморцев, и некому было вспоминать о боях с командами английских пароходов. Раньше, когда старшие черноморцы уходили учиться в мореходку или поступали в торговый флот, их места в команде занимали молодые черноморцы, их младшие братья, ребята с Ланжерона, из старой таможни и портовых улиц, такие же загорелые и веснушчатые, такие же свирепые в нападении, защите и полузащите. Поколение футболистов становилось моряками, но за ними уже шло новое поколение футболистов, тоже будущих моряков.

Война разбросала черноморцев, уничтожила футбол, мореходку и торговый флот. Опустело «Черное море». Засохшая грязь на дне его потрескалась и покрылась чешуйками, как кожа на руке старика.

Володя с трудом узнал голкипера, которого не видел года два. Тот возмужал, похудел и стал еще выше. Между ними никогда не было ни дружбы, ни знакомства. Он знал лишь, что черноморец — сын таможенного сторожа. Однажды Володя дал очень красивый шут по воротам, в которых стоял черноморец: он взял мяч с воздуха на подъем и ударил шагов с двадцати; мяч пошел между двух беков, но, к сожалению, прямо в руки голкиперу. Кроме этого памятного шута, их ничто не связывало. Однако почтение, которое питали гимназисты к черноморцам, было таким глубоким и неизменным, что Володя, невзирая на свое солидное положение, увидев голкипера, ощутил подобострастную радость котенка, повстречавшего доброго льва.

Они пошли рядом, задавая друг другу обычные вопросы: как живешь, где достал такие брюки, что делает Коля и куда девался Петя.

Володя сдержанно сообщил, что живет в деревне, меняя вещи на продукты. Узнав об этом, его спутник оживился и сказал, что тоже живет в деревне и тоже меняет вещи на продукты. Естественно, что разговор коснулся вещей, продуктов и цен. Однако Володя обнаружил во всем этом такую позорную неосведомленность, что поспешил перевести разговор на футбол.

Глаза их заблестели, когда они заговорили о футболе, ибо нет на свете таких болтунов, сплетников и фантазеров, как любители футбола. Они рылись в воспоминаниях, смаковали удары, осуждали и превозносили. От своего спутника Володя узнал о судьбе других черноморцев. Правый бек Зенчик, оказывается, стал петлюровцем, и его порубили белые. Правый хав Кирюша пошел к белым и его, наоборот, порубили петлюровцы. Капитан Ваня Поддувало сошелся с лезгинами из контрразведки генерала Гришина-Алмазова, шлялся по городу в черкеске и был убит темной ночью на Ланжероне неизвестно кем. Зато вся пятерка нападения — пять молодых рыбаков дождались красных и пошли на Врангеля.

Раньше черноморцы делились только на беков, хавбеков и форвардов; казалось, что других различий между ними нет. Теперь, когда команда разделилась по-новому, когда одни стали белыми, другие красными, третьи жовтоблаkitными, открылось то, что никогда раньше не было заметно на футбольном поле: что капитан Ваня Поддувало — сын богатого портового трактирщика, а форварды — бедные рыбацкие дети. И это определило их места на полях сражений.

Так Володя и черноморский голкипер брели, разговаривая, через весь город, и каждый раз, когда Володе нужно было свернуть налево, оказывалось, что голкиперу тоже нужно налево; и каждый раз, когда ему требовалось повернуть направо, оказывалось, что голкиперу нужно туда же. У Володи начало зарождаться подозрение, что черноморец тоже идет на Балковскую, и, хотя такое предположение казалось почти невероятным, по мере приближения к Балковской подозрение превращалось в уверенность. Это очень тревожило Володю, ибо голкипер мог помешать ему ловить Красавчика. Володя попытался даже скрыться от своего спутника — он сворачивал то на одну улицу, то на другую, но ему не везло: всякий раз он выбирал именно ту улицу, которая была нужна его спутнику. Он никак не мог отвязаться от этого человека.

Беседа о футболе, однако, была очень приятной. То, что говорил один, редко совпадало с тем, что сообщал другой, ибо, как все люди, они лучше помнили собственный вымысел, чем действительные события. Но они выслушивали друг друга со снисходительной уступчивостью, ибо каждый из них интересовался не столько тем, что говорил другой, сколько тем, что собирался сказать сам. Каждый с нетерпением ожидал окончания речи собеседника, чтобы приступить к изложению собственного мнения; разговор напоминал игру в футбол, где один старается вырвать мяч у другого, чтобы ударить самому.

На Дерибасовской улице темой их разговора был шут Яшки Бейта, на Преображенской — бег Вальки Прокофьева, на Софиевской — вопрос об искусственном офсайте, доступный пониманию только самых тонких знатоков. На Нарышкинском спуске они коснулись вопросов футбольной казуистики (как должен поступить рефери, если игрок возьмет мяч в зубы и внесет его в ворота?). На Московской улице они заговорили о том, как мотается знаменитый форвард Богемский, и здесь в их взглядах неожиданно обнаружились столь крупные расхождения, что, при всей снисходительности друг к другу, они вступили в серьезный спор. Желание доказать свою правоту настолько овладело ими, что они решили наглядно продемонстрировать прием, послуживший причиной спора, и для этого, отыскав подходящий камешек, остановились на перекрестке, отошли на край тротуара, положили камешек на землю, и попрыгали вокруг него, воспроизводя приемы Богемского так, как их понимал каждый. Чтобы овладеть камнем, голкипер, улучив момент, отпихнул Володю в сторону; бедро его на секунду прижалось к Володиному бедру и совершенно явственно ощутило твердое тело кольта, лежавшего в кармане Володиного пальто.

После этого голкипер стал задумчивым и грустным и, дойдя до ближайшего угла, попрощался с Володей.

— Покедова, мне на Бажакину, — сказал он и свернул налево.

Пройдя еще два квартала, Володя тоже свернул налево — на Балковскую.

Он прошел ее всю, от истоков до самого устья. Постоялые дворы расположились в низовьях Балковской, по обоим ее берегам, там, где улица впадает в степь.

Как по многоводной реке, идут по Балковской в море-степь торговые караваны и, выйдя из устья улицы, расходятся во все стороны — на Тирасполь, на Балту, на Голту. Здесь прощаются с Одессой и здороваются с ней. Если бы степь была морем, в конце Балковской стоял бы маяк, освещающий вход в гавань.

Улица состояла из постоянных дворов, фуражных лавок, кузниц, шорных мастерских, трактиров. Это был Бродвей для еврейских извозчиков — балагул; самые прихотливые желания их удовлетворялись здесь без отказа. Здесь была даже синагога для балагул, с балагулами-служками. Не меньше, чем балагулы, любили Балковскую конокрады. Между членами этих двух цехов царил извечная вражда. Но всегда почему-то там, где вращались балагулы, обосновывались и конокрады. Кошки и собаки, не любя друг друга, обыкновенно живут под одной крышей.

В одном из постоянных дворов жил портной Г. Кравец, который, по слухам, обшивал виднейших конокрадов уезда. Идя по улице, Володя увидел на противоположной стороне его зеленую вывеску. Слева на вывеске желтыми буквами было написано по-украински:

### КРАВЕЦЬ Г. КРАВЕЦЬ.

Справа было написано по-русски: «Портной Г. Кравец».

Рядом с вывеской и перпендикулярно к ней на ржавом стержне висел железный пиджак, скрипевший под ударами ветра.

«Что я сделал бы, — спрашивал себя Володя, разглядывая вывеску, — если бы оказался на месте Красавчика?»

Мучимый этим вопросом, он в нерешительности стоял перед вывеской.

«Я мог бы зайти к этому портному, чтобы заказать себе новый костюм. Я заплатил бы за него из денег, вырученных от продажи украденных лошадей».

Несомненно, это предположение имело столько же оснований, сколько всякое другое, и поэтому Володя решил начать поиски с посещения портного. Прохаживаясь взад и вперед, Володя обдумывал наводящие вопросы, посредством которых он выведает у портного что-либо о его преступных связях.

Когда план был готов, Володя, нащупав револьвер, лежавший в кармане пальто дулом вверх, стал переходить улицу. Дойдя до ее середины, он остановился, чтобы пропустить фургон, выехавший из ворот соседнего постоянного двора.

Лошади шли шагом, и Володя, полный мыслей о портном, рассеянно глядел на фургон. То, что это был зеленый фургон, само по себе ни о чем не говорило. Девять фургонов из десяти на Одессине окрашены в зеленый цвет. Было другое, более важное обстоятельство; левое заднее колесо фургона было новым, с белыми некрашенными спицами.

Володя пошел рядом с фургоном. В голове его все спуталось. Грищенко сообщил ему слишком много примет. Теперь они теснились в мозгу Володи, мешая принять решение. Розочки на задке, лысины на мордах, нарытники с бляшками, некованные копыта... Два аршина, два вершка от холки до земли. Он шел рядом с фургоном, положив правую руку на высокий борт — дробину. Ему одновременно хотелось и забежать вперед, чтобы посмотреть на лошадиные лысины, и заглянуть под копыта, чтобы узнать, кованы ли они, и броситься назад, чтобы освидетельствовать розочки на задке фургона. Немецкой ли работы нарытники? Володя поглядел на возницу. Воротник его полуморского, полустепного твинчика был поднят. На мешке половой сидел голкипер «Черного моря». Это еще больше смутило Володю.

Нужно было что-то делать, что-то говорить. Но что?

Вместо само собой подразумевавшегося «руки вверх» Володя произнес наконец, запинаясь:



— Скажите... как ваша фамилия?

Фамилии Красавчика он не знал, вопрос был бесполезен.

— Фамилия? — переспросил голкипер и прищурил свои глаза цвета ячменного пива. — Иээх! — дико взвизгнул он и хлестнул лошадей.

Дробина толкнула Володю в сторону и вперед, затем он почувствовал удар в поясницу, упал на руки, новое заднее колесо перескочило через его спину; еще миг — и, стоя на четвереньках, он увидел перед самым своим носом розочки на задке фургона. Они удалялись от него со все возрастающей быстротой. Вид этих розочек почти ослепил его. Он вскочил на ноги и бросился вперед с такой стремительностью, будто им выстрелили из невидимой катапульты. Сделав несколько отчаянных скачков, он вцепился в задок в тот момент, когда фургон набрал полную скорость и розочки грозили скрыться навсегда. Он перевалился корпусом через борт и, подпрыгав в воздухе ногами, очутился в фургоне.

Черноморец, не оглядываясь, хлестал лошадей так, будто хотел перерубить их пополам. Володя вскочил на ноги и, балансируя, стал передвигаться вперед. Увы! Царственная поза, в которой Володя видел Красавчика в тот день, когда тот удирал из Севериновки, плохо удавалась. Он чувствовал, что на любом ухабе его может выбросить из повозки. Наконец, кое-как утвердившись на зыбком днище фургона, он схватил за дуло револьвер и высоко поднял его над головой. Один удар по черепу — и с преступником будет покончено. Револьвер описал большую дугу и довольно слабо ткнулся рукояткой в кепку бандита. Тот был не столько ушиблен, сколько удивлен. Но тут дело приняло уж совсем неожиданный оборот. Потеряв равновесие, Володя повалился на возницу, подмял его под себя, тот выпустил вожжи, лошади понесли. Вожжи упали в ноги лошадям, левый жеребец выскочил за постромки и скакал боком, лягаясь. Возница лежал тихо. Володя терся носом о его пыльный затылок и шершавое ухо и, видя над бортами фургона ряды скачущих домов, заборов и вывесок, соображал, что делать. Решение было принято лошадьми. Выбежав на площадь, они сами отдались в руки правосудия, остановившись у общественного водопоя, где их взял под уздцы постовой милиционер.

Через минуту фургон поехал по Балковской. Милиционер правил лошадьми, арестованный сидел на дне фургона, а Володя — на дробине. Задержанный молчал, он как-то обмяк и посерел. Футболист исчез, его место занял правонарушитель. Володя сидел на дробине, держа в руках кольт. Дуло его было направлено на преступника. Не было сомнений, что голкипер «Черного моря» и Красавчик — одно и то же лицо. Они проехали Балковскую, пересекли Бажакину, свернули на Московскую, миновали перекресток, где только что два молодых человека прыгали вокруг камешка, изображавшего футбольный мяч, поднялись по Нарышкинскому спуску и через пять минут въехали во двор дома, где помещался уездный уголовный розыск.

Затем все трое были введены в кабинет товарища Цинципера.

Его удивлению не было границ. В учреждении, возглавляемом товарищем Цинципером, поимка бандита считалась почти невозможной. Товарищ Цинципер был очень взволнован, непрерывно снимал и надевал свое четырехугольное пенсне, потирал лысеющую голову, называл задержанного «товарищ Красавчик», зачем-то придвинул ему стул и пригласил сесть. Красавчик сел, все продолжали стоять. Сотрудники стояли в полном молчании, пожирая глазами живого бандита. Наконец товарищ Цинципер объявил, что будет допрашивать Красавчика лично, через час, после того как заслушает утренние доклады подчиненных. Красавчика увели, а Володя помчался к Виктору Прокофьевичу.

Виктор Прокофьевич был дома — он только что отпустил Федьку Быка. Володя поведал Шестакову о своих приключениях, о поимке Красавчика, но не скрыл и своих ошибок; рассказал, как он путешествовал с преступником через весь город, всячески стараясь от него ускользнуть, и как он был удивлен, когда, наперекор его усилиям, благодаря

счастливой случайности Красавчик оказался у него в руках.

— Эх, Володя, Володя! — сказал Виктор Прокофьевич укоризненно. — Ваша главная ошибка заключалась в том, что вы все время старались поставить себя на место Красавчика. А что вы знали о Красавчике? Ничего. Надо было, наоборот, поставить Красавчика на место себя. Тогда бы получилась более верная картина. Вы подумали бы о том, что и у Красавчика могут быть в городе родители, к которым он пошел ночевать; что и Красавчик, ворочаясь в своей постели, думал о зеленом фургоне, а утром, напившись чаю и попрощавшись с матерью, побежал на Балковскую.

Володя хотел что-то возразить, но дверь открылась и в комнату вошел фельдъегерь товарища Цинципера.

По дороге на допрос Красавчик бежал из-под стражи...

## 9

Самыми бандитскими районами в уезде считались одесские пригороды.

Ставки считались самым бандитским из пригородов Одессы.

Как при отливе, когда океанские воды уходят и на обнажившемся дне остаются мутные лужицы с застрявшей в них мелкой рыбешкой, тиной и водяными блохами, в степных просторах Одесщины, едва схлынули волны гражданской войны, осела «кукурузная армия» — пестрая смесь из остатков разбитых банд, политических и уголовных головорезов, конокрадов и контрабандистов.

«Кукурузной» эта армия называлась потому, что убежищем ее на Одесщине, лишенной лесов, были кукурузные заросли. Днем бандиты сидели в кукурузе, а ночью выходили на шляхи. Одно время было так: днем в уезде одна власть, ночью — другая.

Три месяца назад из Одесщины ушли белые, на этот раз навсегда; до них ушли петлюровцы, махновцы, французы, англичане, греки, поляки, австрийцы, немцы, галичане. Но еще носился по уезду на красном мотоцикле «Индиан» организатор кулацких восстаний немец-колонист Шок; еще не был расстрелян гроза местечек Иоська Пожарник, обязанный кличкой столь прекрасным своим лошадям, что равных им можно найти лишь в пожарных командах; уныло резали своих соплеменников молдаване братья Мунтян; грабил богатых и бедных болгарин Ангелов, по прозвищу Безлапый; еще не был изловлен петлюровский последыш Заболотный, уходивший после каждого налета через Днестр к румынам; еще бродил на воле бандит в офицерском чине Сашка Червень, не оставлявший свидетелей. В самой Одессе гимназистка седьмого класса Дуська Верцинская, известная под кличкой Дуська-Жарь, совершила за вечер восемнадцать налетов на одной Ришельевской улице и только по четной ее стороне. Самогонных аппаратов в деревнях было больше, чем сепараторов; спекулянты ездили по трактам шумными обозами; в кулацкой соломе притаились зеленые пулеметы «максимы», а сами кулаки, еще не вышибленные из своих гнезд, готовили месть и расправу.

Странные дела творились в преступном мире. Богатые чаще грабили бедных, чем бедные богатых. Кулаки посягали на добро незаможников. Неимущие становились опорой законности, а собственники — вдохновителями анархии и разбоя. По уезду гремели конокрады из помещиков и налетчики из гимназистов. Они свозили награбленное к «малинщикам» из священников. Бывший гласный городской думы попался на краже кур и гусей.

В Одесском уезде жили бок о бок украинцы, молдаване, немцы, болгары, евреи, великороссы, греки, эстонцы, арнауты, караимы. Старообрядцы, субботники, молокане, баптисты, католики, лютеране, православные. Жили обособленно, отдельными селами, хуторами, колониями, не смешиваясь друг с другом, сохраняя родной язык, уклад, обычаи.

Немцы жили, как полтора-два столетия назад их прадеды жили в Эльзасе и Лотарингии, — в каменных домах с островерхими кровлями, крытыми разноцветной черепицей. Дома, мебель, повозки, платья, посуда, вилы и грабли, кухонные плиты, молитвенники — все это было

точь-в-точь таким, как в Эльзасе.

Колонии назывались Страсбург, Мангейм — как города на Рейне. Немцы были разные. Были немцы с французскими фамилиями — онемеченные эльзасские французы, с заметным украинским налетом, и были немцы с немецкими фамилиями. Были немцы богачи и бедняки, немцы-католики и немцы-лютеране, немцы, говорящие на гохдойч, и немцы, говорящие на платдойч, плохо понимающие и не любящие друг друга. Кроме немецкого, колонисты знали немножко украинский. «Мы нимци», — говорили они о себе.

Молдаване на Одещине жили точно так, как их предки в дунайских княжествах двести — триста лет тому назад; ели мамалыгу с кислыми огурцами и медом, сами ткали полотно и шерсть и не понимали по-русски. Французы ухаживали за своими виноградниками, как где-нибудь в Провансе.

Рядом с огромными нищими селами стояли немецкие хутора, где каждый из тридцати хозяев носил фамилию Келлер или Шумахер, имел от тысячи до полуторы тысяч десятин тяжелой черноземной земли и полсотни заводских лошадей. Были села, где жили сплошь хлебопашцы, и были села, где жили виноделы, огородники, гончары, шорники, брынзоделы, рыбаки, столяры, шинкари и даже села, где жили одни только музыканты, разъезжавшие по свадьбам и крестинам.

Были села, особенно поближе к Одессе и по Днестру, где жили бандиты. Бандиты были из немцев и болгар, из евреев и молдаван, из украинцев и греков, из мирного и немногочисленного племени караимов. Были бандиты из баптистов. Вечерами они выходили на шляхи и в ночной темноте грабили и убивали, не разбираясь в национальности. И по утрам у дорог находили трупы немцев и болгар, евреев и молдаван, украинцев и караимов.

Но Володя, описывая в своих актах, как выглядят эти трупы и в каких положениях застигло их утро, не мог охватить взглядом всю картину. Ему не были понятны ее масштабы и социальный смысл. Но ему была ясна его задача. Вид первого трупа, который ему пришлось осматривать, глубоко потряс его. Это не был страх перед мертвецом. Это было негодование и острое сознание чужого человеческого горя. «Люди, только что освобожденные революцией, не должны умирать от руки убийц», — сказал он себе. Он должен помочь трудовым селянам сбросить с себя последнее иго — бандитизм. Чтобы они могли мирно работать на своих полях и виноградниках. Пасти овец. Ездить по шляхам днем и ночью. Повыбрасывать обрезы. Спать спокойно в своих хатах.

...Даже люди, столь мужественные и привыкшие к опасностям, какими Володя считал себя, Грищенко и отчасти Шестакова, испытывали неприятное чувство, приближаясь к Ставкам — этому неприступному бандитскому гнезду.

Не всякий одессит знает, где расположены Ставки, и только очень немногие бывали на этой глухой окраине.

...Несколько раз город кончался, пропадал, начинались пустыри, мусорные свалки, чахлые баштаны и, наконец, голая степь; потом степь снова переходила в огороды, свалки, пустыри, появлялись какие-то бесконечные заборы, склады, крупорушки, возникали подобию улиц. Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко всё шли и шли, выходили из города и снова входили в него, а до Ставков было еще далеко, и они начинали опасаться, что не попадут туда до темноты.

Они шли на Ставки брать Червня — Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко, особенно мрачный сегодня и как будто чем-то раздраженный. Они шли через пустыри, мимо бесконечных заборов из желтого песчаника, утыканных сверху осколками бутылок, выбирая дорогу среди обрезков кровельного железа, тряпья, жестянок, битого стекла, куч навоза идохлых кошек.

Прохожие почти не встречались, да и самое название «прохожий» не вязалось с видом людей, пробиравшихся иногда по пустырям и переулкам Ставков. Эти встречи вызывали у мирного путника такое же чувство, какое испытывает горожанин, впервые попавший в деревню и увидевший на пути своем бодливую корову.

— Нехорошо идти гурьбой, — сказал Виктор Прокофьевич. — Если они увидят кучу

народа, то догадаются, что мы идем на них облавой.

— Ще неизвестно, хто кому облаву готовит, — заметил Грищенко зловеще. — чи мы на их, чи воны на нас.

— Я с Грищенко пойду вперед, — продолжал Виктор Прокофьевич, — а вы, Володя, отстаньте шагов на пятьдесят, будете, так сказать, защищать тыл. Мы с Грищенко войдем первыми, а вы...

— Ни за что! — вспыхнул Володя. — Уж не потому ли, что Червень стреляет сквозь шинель?

— От вже и поцапались! Я можу пойти сзади, — примирительно сказал Грищенко.

Но Виктор Прокофьевич заупрямился.

— Что вы за человек, Володя? Вы обязательно хотите поймать всех бандитов сами! Вы уже поймали Красавчика, и пока хватит с вас. Дайте и старику раз в жизни поймать преступника.

В конце концов Володя согласился, чтобы не обижать старика.

— Не забудьте, Володя, — сказал Шестаков, — наш уговор насчет лопаты. Если лопаты не будет, мы поворачиваемся и на цыпочках уходим.

## 10

Володя пошел сзади, время от времени вынимая карманное зеркальце и проверяя, не выслеживает ли их кто-нибудь.

Иногда он не без удовольствия разглядывал на дороге красивые отпечатки в форме полумесяца, напоминающие следы укусов; то были отпечатки обрамленных шипами грищенковских каблуков. Бравая спина их владельца виднелась впереди, шагах в пятидесяти; рядом шагал, сутулясь, Виктор Прокофьевич.

Они подошли к переезду. Здесь, как всегда в жаркую пору, запахло железной дорогой: дегтем, гарью, застоявшейся в кюветах водой и далекими путешествиями. Володя любил этот запах. От чистенькой щебенки повеяло теплом, накопленным за день. Рельс, которого он мимоходом коснулся рукой, был горячим, хотя солнце уже зашло. Сумерки надвинулись быстро.

Еще минут пять они пробирались сквозь дыры в каких-то дощатых заборах, пока не пришли к облезлому, покрытому струпьями двухэтажному дому со сводчатой подворотней посредине, маленькими окнами и толстыми стенами, подпертыми полуобвалившимися кирпичными контрфорсами. Дом был окрашен в буро-зеленый цвет, в какой время и морские туманы красят в Одессе заброшенные строения, а городская управа — богадельни и сиротские приюты, и принадлежал к тому типу зданий, самая архитектура которых органически включает в себя запах испорченных уборных, смрад помоек, сырость и плесень внутри и снаружи.

Из дома доносилась бойкая песенка, которую пела в те дни вся Одесса:

Как приятны, как полезны помидоры,  
Да помидоры, да помидоры...

Перед тем как скрыться в подворотне, Виктор Прокофьевич обернулся к Володе и кивнул ему.

Володя побежал. Он знал, что Червень с приятелем должны находиться не в двухэтажном доме, выходящем на улицу, а в дворовом одноэтажном флигеле. Когда он очутился перед длинной сводчатой подворотней, в его уши ударили рвущиеся оттуда громоподобные звуки песни, как будто он всунул голову в граммофонную трубу:

Да помидоры, да помидоры...

Володя побежал по гремящей подворотне и очутился на квадратном дворике, замощенном камнем-дикарем. Посредине росло лишь одно дерево с голыми, скорченными, как бы застывшими в судороге, обрубками сучьев. На один из обрубков была надета большая макитра. От дерева навстречу Володе молча бросилась высокая худая собака с темными кругами вокруг белых глаз, собака с головой стерляди, собираясь не то обнюхать его, не то укусить. Володя отпрыгнул в сторону. С детства он испытывал не то что страх, но какое-то предубеждение против собак, оставшееся в нем с того дня, когда его, трехлетнего мальчика, облаяла соседкина болонка; ужас, испытанный им в тот день, на всю жизнь определил его отношение к собакам.

— Пшел! — крикнул Володя серому и, косясь через плечо, пересек двор по дуге, в центре которой оставался подозрительный пес.

Перед Володей было одноэтажное здание складского типа с толстыми решетками на окнах и входом посредине. Из этого входа и рвался наружу лихой припев. Володя знал, что вход ведет в коридорчик, имеющий аршин восемь в длину и аршина два в ширину, что коридорчик упирается в дверь, за которой находится комната с окном, взятым в решетку. Здесь и должен был находиться Червень с приятелем.

В глубине коридорчика появилась и исчезла полоса света. Песня оборвалась.

«Вошли», — подумал Володя.

Уже почти стемнело.

Слева от входа стояла лопата.

Вытянув вперед руку, Володя побежал по темному коридорчику. Ладонь его коснулась толстого железного засова. Он потянул его к себе, дверь, удерживаемая тугой пружиной, приоткрылась, и Володя просунул голову внутрь.

Он увидел комнату, более широкую, чем длинную; большой стол, оставлявший лишь узкие проходы у стен, заставленный бутылками и едой, человек пятнадцать мужчин и женщин, неподвижно, в полном молчании сидевших вокруг стола, Виктора Прокофьевича, стоявшего справа, у дверного косяка, и Грищенко, который стоял еще правее, опираясь на манлихер.

Еще не было произнесено ни слова, еще не было сделано ни одного движения. Но пальцы уже лежали на собачках. Слабый шорох, произведенный Володей, привел все в движение. Лавина рухнула. Из многих глоток вырвался пронзительный крик. Черная квасная бутылка описала почти видимую дугу и шлепнулась доньшком о лоб Шестакова. Боднув воздух эспаньолкой, Виктор Прокофьевич рухнул на пол. Лампа-молния погасла. В грохоте опрокидываемых стульев, звоне посуды, топоте, рычанье утонули чьи-то пистолетные выстрелы. Казалось, что в комнате топчется бешеный слон.

Все бросились к выходу.

Володя втянул голову в плечи и отпрянул в коридор. Дверь захлопнулась и сейчас же, нажатая кем-то изнутри, ударила его в лоб.

Он толкнул дверь обратно. Он сделал это инстинктивно. Если дверь откроется, бешеный слон растопчет его. Изнутри нажали на дверь сильнее. Володя хотел бежать, но он не мог оставить дверь. Он налег на нее всем корпусом, но дверь неумолимо — миллиметр за миллиметром — отодвигала его в коридор. Подошвы Володи медленно скользили по полу. Но его левая ладонь хранила какое-то важное воспоминание. Воспоминание о прикосновении к засову! Ладонь догадалась, что надо делать. Она стала искать в темноте. Ум в этом не участвовал. Рукой управлял страх. Нужно было закрыть дверь на задвижку, чтобы бежать.



Володя уперся плечом в засов. Ему показалось, что позвоночник его сейчас сожмется гармошкой. Но вдруг ноги его на секунду перестали скользить.

За дверью образовалась каша из людей и стульев, подхваченных потоком, устремившихся к выходу. Мешало тело Шестакова, упавшего внутри у порога.

Нажим изнутри ослабел — может быть, руки, давящие на дверь, были отняты на миг, чтобы нанести новый, еще более сильный удар.

В этот миг засов вошел в скобу.

Теперь можно было бежать через пустынный двор, мчаться по Ставкам. Никто не будет гнаться за ним, кроме серой собаки.

Володя на цыпочках, стараясь не стучать ногами, побежал через двор мимо сумасшедшего дерева, к подворотне. Серый пес шарахнулся от него. Володя чувствовал во всем теле необыкновенную легкость, будто с его плеча свалился весь флигель.

Только сердце стучало на весь двор.

В подворотне Володя остановился, затем так же, на цыпочках, словно боясь, что кто-нибудь увидит его, побежал обратно.

Он вспомнил: Виктор Прокофьевич, Грищенко!

## 11

Дверь гудела так, будто изнутри ее били тараном. Володе казалось, что при каждом ударе она выгибается наружу.

Володя выхватил свисток. Как только его рука ощутила этот символ власти и порядка, он успокоился.

Он засвистел. Он знал, что на выстрелы народ не прибежит, а на свисток прибежит. В те времена стрельба не была для одессита чем-то необычным, что могло бы его заинтересовать и заставить ускорить шаг. Но в звуке милицейского свистка заключалась магическая сила, подчиняться которой одессит привык издавна.

Володя свистел, таран продолжал гроыхать. Перегородка, отделявшая Володю от бандитов, трещала и грозила рассыпаться. Сейчас Володя уже вполне трезво оценивал обстановку. Если дверь будет высажена, не спастись ни ему, ни Виктору Прокофьевичу, ни Грищенко. Во главе осажденных — Червень, а Червень не оставляет свидетелей.

— Не ломайте дверь! — крикнул Володя фальцетом. — Стрелять буду!

И вытащил из кармана кольт.

Но дверь продолжала сотрясаться от ударов.

Толстая кольтовская пуля с десяти шагов пробивает двухдюймовую доску. Володя поднял кольт. — Стрелять буду! — крикнул он снова и, даже не успев полюбоваться собой, выстрелил в дверь два раза.

Наступила минута тишины, затем послышались три громких удара. Кусочки песчаника, отбитые от стены, брызнули Володе в лицо. Большая макитра на сучке с грохотом разлетелась на куски и осыпала осколками дворик. Осажденные отстреливались.

Володя выскочил из коридорчика и, став за угол, продолжал стрелять в дверь. К счастью, он вовремя вспомнил одно из изречений Червня: «Начав стрелять, не забудь остановиться». В обойме у него оставалось только два патрона.

Володя снова схватился за свисток. Осажденные же, начав стрелять, еще долго не могли остановиться, хотя среди них и находился сам Червень. Пули летели через дворик. Во флигеле напротив со звоном сыпались стекла.

Вдруг в шуме боя образовалась щель, сквозь которую прорвался новый звук. Володя быстро обернулся. Кто-то бежал через двор, работая на ходу затвором длинной берданки.

На бегущем была защитная гимнастерка, украшенная синими венгерскими бранденбурами, какие сейчас нашивают на пижамы, парусиновая буденовка старинного фасона, с высоким шпилем и двумя козырьками — сзади и спереди; на ногах — желтые ботинки из твердой, негнушейся кожи. Незнакомец был так занят своей берданкой, в которой

что-то не ладилось, что, подбежав к Володе, даже не поглядел на него, а продолжал громко лязгать затвором.

— Кто ты? — крикнул Володя.

— Продармеец, — ответил тот, не отрываясь от своего занятия.

— Сколько у тебя патронов?

— Один, — ответил продармеец, показывая длинный патрон с толстой свинцовой, спиленной на конце пулей, вроде тех, которыми стреляли в битве на реке Альме.

Володя быстро оценил огневую силу подкрепления.

— Стрелять не надо, стой здесь, щелкай затвором, — Володя сунул продармейцу свисток, — и свисти.

Продармеец стал по другую сторону входа и принялся щелкать и свистеть, свистеть и щелкать, как ему было приказано.

Между тем бандиты прекратили стрельбу и снова занялись высаживанием двери. Через несколько минут их усилия увенчались успехом. Крик торжества вырвался изнутри. Дверные петли отскочили. Дверь приоткрылась — теперь она держалась только на засове. Достаточно было немного отодвинуть ее в сторону, чтобы засов вышел из скобы и путь был открыт. Но осажденные сгоряча продолжали бить в дверь, отгибая засов и постепенно расширяя проход.

Володя схватил одну из своих лимонок. «Дверь защитит Шестакова, но тех, кто выскочит в коридор, порвет на куски», — пронеслось в голове у Володи.

Это была лимонка, выменянная когда-то на фотографический аппарат, заветная лимонка, на которой ему был знаком каждый бугорок, каждая царапина. Пришло-таки ей время взорваться! Он вырвал кольцо — сколько раз он представлял себе это движение, которое каждая лимонка позволяет сделать только однажды, — и бросил продолговатую, бугристую, как еловая шишка, бомбу в коридорчик.

Из коридора громыкнуло, дунуло ветром, дымом и пылью.

Дверь упала.

Было тихо. Внутри что-то звякнуло.

— Сдавайтесь! — крикнул Володя. — Иначе все будете перебиты.

Продармеец щелкнул затвором.

— Выходи безоружными, по команде, спиной вперед, каждый отдельно, с поднятыми руками. Кто не подчинится — взорву! — крикнул Володя в темноту.

Сзади послышался топот. Кто-то бежал через дворик, размахивая фонарем. Светлый круг прыгал по булыжнику.

— Стой! Кто идет? — крикнул Володя. Все нужные слова сами шли на язык. Человек с фонарем молчал.

— Кто ты? — опять крикнул Володя.

— Я?

— Да, ты.

— Я — житель, — уклончиво ответил незнакомец, испуганно разглядывая Володю.

Тот стоял, держа в поднятой руке вторую лимонку, как бокал.

Человек с фонарем колебался. Его взгляд скользил по лимонке, наплечным ремням, обшитым кожей Володиным галифе. Все это были вещи неясные, неубедительные. Лимонка, наплечные ремни могли быть у кого угодно. Но свисток! Свисток мог быть только у представителя закона.

— Я — председатель домкома, — сказал незнакомец, ободренный непрекращающимся свистом.

— Далеко отсюда телефон? — спросил его Володя.

— На переезде, пять минут ходу.

— Бегите на переезд, звоните в угрозыск дежурному по городу, без номера... повторите...

— ...угрозыск, дежурному по городу, без номера...

— ...чтобы выслал летучку и «скорую помощь»... повторите...

- ...летучку и «скорую помощь»...
- ...на Ставки. Куда ехать — объясните сами. Сумеете?
- Сумею.
- И чтобы позвонили Цин-ци-пе-ру. Запомните?
- Чтобы позвонили Цин-ци-пе-ру.

Председатель домкома поставил фонарь на землю и побежал.

В глубине коридорчика о чем-то шептались. Володя стоял за углом стены, прислушиваясь. Вдруг дверь скрипнула под чьей-то ногой.

— Сдавайся! — крикнул Володя, замахнувшись лимонкой.

— Сдаемся, — послышалось изнутри.

Бандиты выходили по одному, затылками вперед, подняв руки. Вероятно, они ожидали увидеть во дворе большой отряд. Но, когда они убеждались в своей ошибке, было поздно ее исправлять. Они уже были испуганы и, стало быть, побеждены. Володя стоял с револьвером и бомбой, следя, чтобы никто не опустил рук. Продармеец обыскивал бандитов и ставил их в ряд, лицом к стене. Всего вышло девять человек — пять мужчин и четыре женщины. Червня среди них не было.

— Женщин ставь по краям, — распорядился Володя. Когда с бандитами было покончено, он крикнул:

— Виктор Прокофьевич!

Но ответа не было.

В этот момент в коридорчике послышался шорох.

— Не лякайтесь, це я, — сказал знакомый голос. По коридорчику пятился, подняв руки, Грищенко.

— Это щоб вы з переляку меня не шлепнули, товарищ начальник, — объяснил он, выбравшись во двор.

Одна штанина была у Грищенко оторвана до колена, и голая нога торчала из нее, как протез. К рябой щеке прилип салатный лист, но, в общем, младший милиционер был цел и невредим.

— Вот здорово, ты цел? — обрадовался Володя. — Что же ты там делал, внутри?

— Да ничего. Як стали нашего Виктора Прокоповича топтать, я соби и подумав: «Пока спекут кныши, останешься без души» — тай заховався пид стол, в затишок...

— Где Виктор Прокофьевич? — прервал его Володя мрачно. — Что с ним?

— А хибя ж я знаю? Що я, доктор?

— А где твой манлихер?

— Манлихер? — переспросил Грищенко и почесал за ухом.

## 12

В то время как Грищенко чесал за ухом, мушка его манлихера остановилась как раз на уровне груди Володи. Человек, целившийся в Володю из манлихера, лежал за порогом комнаты. Очнувшись от контузии, он пошарил вокруг себя. Его рука сначала нащупала чье-то холодное лицо, затем приклад. Он подтянул его к себе и засунул палец в дырку в нижней части магазина. Палец вошел в дырку на глубину одной гильзы. «Четыре патрона в магазине», — подумал человек. Есть ли патрон в стволе? Щелкать затвором нельзя было — тот, кто стоял у входа, мог услышать и отскочить в сторону. Но ведь винтовка на предохранителе; стало быть, патрон в стволе есть. Человек в комнате тихо отвел предохранитель и приник щекой к прикладу.

Володя стоял в светлом квадрате выхода. Над головой его висела красная луна. Фонарь председателя домкома освещал его снизу колеблющимся светом. Человек переводил мушку

манлихера с Володиной головы на грудь, с груди на голову.

— Грищенко, — говорил Володя взволнованно, — я приказываю тебе полезть за манлихером...

— Ну, як же я туда полизу, — плаксиво отвечал Грищенко, — коли я чую що там хтось чухається.

— Грищенко...

Но Володя не договорил.

— Получай свой манлихер! — раздался голос изнутри.

И манлихер Грищенко, выброшенный сильной рукой из коридора, загрохотал по булыжнику. Грищенко прыгнул в сторону, как кенгуру. Вслед за манлихером из коридорчика показалась долговязая фигура с поднятыми руками.

Грищенко поднял манлихер и держал его растерянно, как будто это была не винтовка, а дрючок.

— Обыщи, — сказал Володя Грищенко.

— Отскожь, не прикайся, — сказал долговязый. — От меня винт получил — и меня же обыскивать хочет! На, обыскивай! — Он повернулся корпусом к председателю домкома, который только что вынырнул из темноты.

Председатель домкома, обнаружив неплохую технику кистевого механизма, стал проделывать волнообразные движения вдоль его тела. В этом, собственно, не было ничего удивительного, ибо одесситы последние годы только тем и занимались, что обыскивали друг друга.

Верзила поворачивался перед председателем домкома то спиной, то боком, как на примерке у портного. Тусклый свет фонаря падал иногда на его лицо, и чем пристальнее вглядывался в него Володя, тем больше убеждался, что эти твердые бронзовые скулы не имеют ничего общего с подробно описанной Федькой Быком толстомясой, банной мордой Сашки Червня. «Эта карточка мне знакома, — думал Володя, разглядывая бандита, — но из какого она альбома?» Верзила между тем повернулся к свету, и Володя понял, что он снова поймал Красавчика.

— Красавчик! — пролепетал Володя совершенно потрясенный. — Как ты сюда попал?

— Добрый вечер, гражданин начальник, еще раз! — Красавчик приложил руку к кепке. — Мы с вами сегодня, как нитка с иголкой: куда вы — туда я, куда я — туда вы.

Этой фразой было сказано очень много. Он давал понять, что признает неуместность при данных обстоятельствах всяких воспоминаний о старом знакомстве двух футболистов. Он не собирается извлекать из них какую-либо пользу для себя. Он понимает, что дружба дружбой, а служба службой. Он произнес эти слова тем полным достоинства, почтительно-фамильярным тоном, которым опытный арестованный всегда разговаривает со своим следователем. Но, не претендуя на поблажки по знакомству, он не собирался отказываться от того, на что имел право по закону.

— Прошу только, гражданин начальник, — сказал он тем же почтительно-фамильярным тоном, — отметить в протоколе этот манлихер. Дескать, вор-конокрад Красавчик, не имея мокрых дел и не желая их иметь... Продолжая вертеться перед председателем домкома с поднятыми над головой руками, то втягивая, то выпячивая живот, услужливо подставляя еще необысканные участки тела, он объяснил Володе, почему умный вор не пойдет на мокрое дело.

— Мокрые дела умному вору ни к чему, — говорил он. — За мокрые дела шлепают.

Председатель домкома между тем нащупал за пазухой Красавчика какой-то ремень и принялся его вытаскивать. За ремнем потянулся моток, оказавшийся уздечкой.

— Орудие производства, — объяснил Красавчик, смутившись.

— Манлихер я отмечу, поскольку факт имеет место, — сказал Володя. — Но ты скажи откровенно: как насчет побегов? Будешь еще бежать или нет? Красавчик ударил себя в грудь:

— Побей меня гром, разве ж это был мой побег? Это ж был ихний побег. Берут меня из

камеры и дают мне конвой — женщину-милиционера. Это же просто насмешка! Мы идем по улице, а я себе думаю: меня же люди видят, знакомые! Может, мне даже этой свободы особенно не хотелось...

Председатель домкома фыркнул.

— Ну, чем доказать? Вот могу дойти до этих ворот и обратно. Хотите?

Он сказал это так искренне и горячо, как может сказать только человек, взятый под стражу.

Много времени спустя Володя задумался над тем, что удержало руку Красавчика, когда он, целясь в него из манлихера, решал вопрос: убить или не убить? Только ли холодный расчет опытного уголовника? Не вспомнил ли Красавчик в эту минуту «Черное море», футбол? Не вспомнил ли он, увидев в светлом квадрате входа инсайта «Азовского моря», что сам был когда-то голкипером черноморцев и лежал в их славных воротах, как лежит сейчас на полу в темной воровской «малине»? И тогда, быть может, в нем проснулся добрый лев, не пожелавший убить ничего не подозревающего, незащищенного врага; быть может, он почувствовал обиду за себя, за свою скверную судьбу, понял, что смутное время кончилось и что надо делать окончательный выбор. Но если эти мысли и взволновали его, он постарался скрыть их. Лишь много лет спустя Володя узнал, о чем размышлял Красавчик в минуту, решившую судьбу обоих.

Бандиты стояли в ряд в причудливых позах, изогнув спины и упершись ладонями в стену. Потеряв свободу, они потеряли индивидуальность. Они казались одинаково серыми, покорными и почти неотличимыми друг от друга. У них онемели поднятые руки, чесались спины, и они были коровьими голосами:

— Гражданин начальник... разрешите опустить руки...

Нытье бандитов прервал грохот автомобиля, полным ходом въехавшего во двор. Это был курносенький грузовичок «фиат» на твердых шинах, битком набитый людьми. Машина круто завернула, и начальник оперативного отдела с ходу копчиком упал на бандитов. За ним посыпались агенты и менее чем в две секунды бандиты были обысканы с головы до ног.

— Городская работа, а? — подмигнул начальник оперативного отдела Володе, намекая на превосходство городского угрозыска над уездным.

Расшитая золотом кубанка начоперота, алая черкеска, окрыленная приштиленным к спине башлыком, желтые сапоги с подколенными ремешками и маленьким раструбом вверху голенища, обритая со всех сторон борода котлеткой, напудренное лицо, наконец бомба-фонарка особенно редкостного, не известного Володе образца — все это производило такое сильное впечатление, что всякому, кто видел этого человека, хотелось ему немедленно сдаться.

Еще через секунду бандиты, подгоняемые агентами, как овцы, толкаясь, лезли в грузовик. Они рассаживались в нем, ворча друг на друга, зло пиная женщин и стараясь захватить лучшие места. Только что потеряв свободу, они хотели тем не менее с удобством ехать в грузовике. Утратив преимущества, которые дает человеку свобода, они сейчас же стали заботиться о мелких выгодах, которые могло дать им заключение. Когда бандиты уселись, начальник оперативного отдела, освещая путь фонариком, устремился в коридорчик. За ним двинулись агенты, целясь в темноту из револьверов.

Первым вынесли Виктора Прокофьевича.

— Сажай, сажай его под стенку, не клади, чтобы юшка через голову не вытекла, — распоряжался начоперот.

Виктора Прокофьевича посадили под стенку, он тихо застонал. Седенькая эспаньолка его потемнела от крови, стекавшей по лицу.

— Кроме черепа, все в порядке, — сказал начоперот, ощутив опытной рукой раненого и с трудом отгибая его пальцы, все еще сжимавшие два нагана солдатского образца. — Вот



пример доблести! — добавил он, — Без памяти, голова пробита, а наганов отдавать не хочет.

— Что с ним, как вы думаете? — спросил Володя в тревоге.

— Что я, доктор? — пожал плечами начоперот. — Думаю, добрая жменя стекла в черепе. Один кусок торчит из лба, как рог.

Рядом с Виктором Прокофьевичем положили еще двух: один был без памяти, другой мертв.

Начоперот осветил его лицо электрическим фонариком.

— Червень, — сказал он. — Наповал. — И, посмотрев на Володю с уважением, добавил: — Вам повезло. Поздравляю. Приложив руку к груди, он отвесил Володе легкий поклон. — Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним.

Затем он поднял кусок старого толя, валявшийся у водосточной трубы, и, стряхнув с него песок, накрыл лицо бандита.

В это время во двор въехала машина «скорой помощи». За ней, гремя шестернями, вкатился нарядный штабной «берлиэ» на высоких колесах; его широкий, выпуклый радиатор, обильно украшенный бронзой и эмалью, сверкал, словно осыпанная звездами, лентами и орденскими знаками грудь императора. В «берлиэ» сидел товарищ Цинципер.

Три пары автомобильных фар осветили необычную сцену: тела, вытянувшиеся на земле, кучу арестованных под дулами наведенных на них наганов, белый халат доктора, склонившегося над Виктором Прокофьевичем, и в центре — Володю, потного, измазанного, с упавшими на глаза волосами. Он все еще держал в вытянутых руках пистолет и бомбу, как скипетр и державу.

— Володя! — крикнул товарищ Цинципер, соскакивая с машины. — Уездный розыск гордится тобой!

Он хотел пожать Володе руку, но увидев пистолет и бомбу, бросился к начопероту, по дороге едва не наступив на тело Червня. Близоруко поглядев на его поднятые колени и черную лужу, вытекшую из-под куска толя, товарищ Цинципер, непривычный к подобным картинам, заметно позеленел.

Володя разыскал взглядом Грищенко, который терся где-то в задних рядах.

— Грищенко, дай на минуточку твой манлихер, — сказал он.

Грищенко вышел вперед. Все великолепие его куда-то исчезло, и он казался невзрачным, как сибирский кот, только что вытасченный из воды.

Взяв у Грищенко винтовку, Володя обратился к товарищу Цинциперу:

— Товарищ начальник, разрешите доложить: младший милиционер Грищенко арестован мной за измену долгу.

— Пожалуйста, пожалуйста, я не возражаю, — замахал руками товарищ Цинципер, с некоторой робостью взирая на своего неукротимого агента.

— Занимайте места согласно купленному билету, — изысканно вежливо обратился начоперот к Грищенко, сложив ладони лодочками, и указывая ими в сторону грузовика, в котором уже сидели, понурившись, бандиты.

Грищенко пошел, сутулясь, к грузовику, и его спина, еще недавно такая бравая, сразу стала похожей на спину заключенного.

— Это все? Или еще не все? — Начоперот выразительно покосился на председателя домкома.

— Пока все, — ответил Володя.

— Тогда поехали! — крикнул начоперот и, взмахнув полами черкески, взлетел на грузовик.

Володя подошел к Шестакову. Рядом с ним на коленях стоял врач. Белый бинт летал вокруг головы раненого. Из-под марли были видны только его глаза.

— Как раненый? — спросил Володя у врача.

— Рана не опасна, но месяц продержим, — ответил тот, ловко перебрасывая бинт из руки в руку.

— Подлечите его, пожалуйста, и от хронического катара, — сказал Володя. — И, когда

он придет в себя, передайте ему от меня записочку.

Он вынул из кармана клочок бумаги — это был их план на сегодняшний день — и написал на обороте:

«Виктор Прокофьевич! Красавчик пойман. Червень убит. Грищенко я посадил. Завтра утром приду к вам в больницу.

**Володя».**

Первой выехала на улицу «скорая помощь». За ней тронулась летучка. Бандиты сидели на дне грузовика, агенты — на бортах. Двое лежали на крыльях, целясь из винтовок в Ставки, притаившиеся в ночном мраке.

Долговязая фигура Красавчика раскачивалась над головами урканов. Красавчик стоял, широко расставив ноги, балансируя на ухабах и хватаясь иногда за голову Грищенко, сидевшего у его ног.

— Гражданин начальник, манлихер! Не забудьте манлихер! — кричал Красавчик Володе.

Тяжело переваливаясь, грузовик вполз в сводчатую подворотню.

— Манлихер! — прогремело из подворотни в последний раз.

На улице бандиты приободрились — в конце концов то, что случилось с ними, было в порядке вещей — и затянули воровскую «дорожную». Ветер забросил во дворик ее бойкий напев и веселые слова.

Майдан несется полным ходом...

Последними выехали со двора товарищ Цинципер и Володя на «берлиэ». Худая серая собака со стерляжьей головой бросилась за машиной, чтобы укусить ее в заднее колесо, но раздумала и отбежала. Двор опустел. Только часовые стояли у дверей разгромленной «малины».

— Володя, — сказал товарищ Цинципер, закрывая рот ладонью от встречного ветра, — я завтра же ставлю вопрос перед начальником губернского розыска, чтобы вас обоих — тебя и Шестакова — наградили именными золотыми часами с надписью: «За успешную борьбу с бандитизмом».

Они догнали летучку. Клубы пыли окутали «берлиэ», и воровская частушка заглушила приятные речи, с которыми товарищ Цинципер обращался к своему агенту.

Едва Владимир Степанович Бойченко закончил чтение, едва члены клуба перенесли мыслью из знойной Одессы в суровые Гагры, как несколько рук потянулось к увесистым золотым часам, лежавшим на тумбочке у изголовья кровати доктора. Все хорошо знали эти часы и безукоризненную точность их хода.

Самым проворным оказался юрисконсульт. Он схватил часы и нажал пружинку. Толстая крышка со звоном отскочила, и под ней, как в сейфе, оказалась другая, точно такая же крышка. Юрисконсульт поднес часы к керосиновой лампе и громко прочитал надпись, выгравированную на внутренней стороне крышки:

**Владимиру Алексеевичу Патрикееву  
за успешную борьбу с бандитизмом от  
Одесского уездного уголовного розыска  
25 августа 1920 года.**

На минуту все онемели от изумления.

— Позвольте! — закричал наконец юрисконсульт. — Вы нарушили условие, доктор!

Вы должны были написать из собственной жизни... Значит, сыщик Володя не вы, Владимир Степанович, а вы, Владимир Алексеевич!

И он недоуменно повернулся к Патрикееву.

— Вы меня, кажется, разоблачили, — ответил тот, чуть-чуть смутившись. — Отпираться бесполезно. Володя — это я.

— И вы ездили на кобыле Коханочке? — спросил старик Пфайфер.

— И я ездил на кобыле Коханочке.

— И вы бросали лимонки?

— И я бросал лимонки.

— И вы поймали Красавчика?

— И я поймал Красавчика.

Члены клуба недоумевали. Все уже создали в своем воображении образ Володи, и это был образ молодого доктора Бойченко. Теперь нужно было этот образ менять. Нужно было на место Бойченко ставить Патрикеева. Это было трудно. Трудно было поверить, что солидный, уверенный в себе Патрикеев был когда-то робким, застенчивым, смешным мальчиком — таким, каким он был описан в рассказе доктора.

— Как это на вас не похоже! — всплеснула руками Нечестивцева. — Вы — и эти степные трупы...

— Позвольте! — перебил ее юрисконсульт. — Одного я все-таки не понимаю: почему же часы у Владимира Степановича? При чем здесь доктор?

— Ну, это просто, — ответил Патрикеев, ухмыльнувшись не без лукавства. — Мы с ним старые приятели, и я давно подарил ему эти часы на память о юности, проведенной вместе.

— Сидели небось за одной партой?

— Нет, мы учились в разных учебных заведениях.

Юрисконсульт еще долго не мог успокоиться.

— Кто бы мог подумать, — говорил он, обращаясь к Пфайферу и Нечестивцевой, — что известный литератор десять лет назад был мелким агентом деревенского уголовного розыска...

Все согласились с тем, что подобные превращения возможны только в наши дни, и каждый привел несколько примеров быстрого роста людей в Советской стране. Оказалось, что доктор Нечестивцева была когда-то медицинской сестрой, а интендант Сдобнов — почтальоном; и даже сам Пфайфер, знаменитый хлебопек, до семнадцатого года всего-навсего управлял большой частной пекарней в Кременчуге. Только юрисконсульт Котик со смущением признал, что всегда был юрисконсультом и его отец тоже был юрисконсультом.

— Скажите, — спохватился вдруг Котик, — а куда девался ваш Красавчик?

— Красавчик попал, разумеется, в допр, — ответил Патрикеев. — В те годы над воротами одесского допра висела надпись, сочиненная его начальником, бывшим политкаторжанином, полжизни просидевшим в царских тюрьмах: «Допр не тюрьма, не грусти, входящий». Всякий, кто попадал в допр, мог стать человеком, если только хотел этого. Красавчик сидел года четыре и все четыре года работал и учился. Он вышел на волю довольно образованным молодым человеком, спокойным и скромным. То, что произошло с ним дальше, никого в наши дни не может удивить; он продолжал учиться и кончил вуз. Кстати, и я кончил все-таки вуз — филологический факультет бывшего Новороссийского университета. То были трудные годы для юношей, и многие из нас занимались не тем, чем надо. Советская власть помогла нам найти место в жизни. Она занялась нами, как только у нее немножко освободились руки. С одними она обошлась сурово, как с Красавчиком, с другими — поласковее. Кто дождался этого времени, кто захотел, тот стал человеком... Теперь Красавчик, — продолжал Патрикеев, — редко вспоминает о своих степных похождениях, о «кукурузной армии», о том времени, когда он не выходил из дому без уздечки за пазухой. Теперь вы можете совершенно спокойно доверить ему пару лучших своих лошадей. Я не терял его из виду, и в конце концов мы подружились; каждый из нас

считает себя очень обязанным другому: я — за то, что он не выстрелил в меня когда-то из манлихера, а он — за то, что я вовремя его посадил.

Патрикеев швырнул в камин чурбанчики, на которых сидел, и подошел к окну. Посредине гагринской бухты, прямо перед дворцом, возвышалась пирамида огня. Это был теплоход. Он был иллюминирован с такой пышностью, будто его рубильниками управляли огнепоклонники. Патрикеев распахнул балконную дверь. Непривычная тишина почти оглушила его. Прибоя не было. Молодой синеватый месяц мирно сиял в звездном небе, а под ним поперек спокойного моря тек к берегу светлый лунный ручей. С высокого берега свергались в море потоки талой воды. Было тепло, снег быстро таял. И, как бы извещая о первых глотках воды, вернувших жизнь гидростанции, в электрической лампочке над верандой порозовела и затрепетала тонкая нить.

Торжественный аккорд потряс воздух. Он был всеобъемлющ. Все тона сплелись в нем и все звучало вместе с ним — горы, море, стекло в оконной раме. Он наполнял собой все. Он был так низок, что казался подземным. Это гудел теплоход.

— Товарищи, — крикнул Патрикеев, — шторм утих!

Но никто не обратил внимания на его слова. Все смотрели на доктора Бойченко. Тот сидел молча, опустив голову и приблизив лицо к огню, как будто немного обиженный тем, что никто не сказал ни слова о литературных достоинствах его рассказа. Доктор молчал, и члены клуба продолжали смотреть на него немигающим, изумленным взглядом.

Общее внимание смутило доктора. Он поднялся со стула, расправил широкие плечи, потянулся, и все увидели его долговязую фигуру, твердые бронзовые скулы и веселые глаза цвета ячменного пива.

*Январь — апрель 1938 года*

## Из рассказов бывшего летчика

### Знакомство с «Сопвичем»

Застегивая под подбородком пилотский шлем, Чулков рассматривал себя в зеркале во всех ракурсах и с видимым удовольствием.

Сегодня он должен был получить в свое распоряжение самолет.

Он застегивал пилотский шлем, хотя ему и предстояло сесть не в самолет, а в поезд, отправляющийся в Поворино.

Но Чулков только на днях кончил школу, только что прибыл в отряд и не успел еще вполне насладиться своим правом на ношение этого благородного головного убора.

Чулкова посылали на станцию Поворино за оставшимся там самолетом. Было это в 1919 году, в сентябре.

За несколько дней до этого в Балашов, где стоял отряд, прислали несколько бесфюзеляжных бипланов с толкающим винтом, системы «Фарман». Один из них должен был получить Чулков. Но аэропланы оказались гнилыми.

В отряде так и говорили: «гнилые аэропланы», говорят: «гнилая картошка».

Первый из этих аэропланов разбился при взлете. Тогда вскрыли остальные и увидели, что внутренние части, находящиеся под обшивкой, превратились в труху. Машины были деревянные.

Обидно, когда человек всю жизнь ждет этого торжественного дня, всю жизнь мечтает о полетах, получает наконец аэроплан и вдруг обнаруживает, что он изъеден червями.

После этого Чулкову решили дать «Сопвич», застрявший на станции Поворино. «Сопвич» считали очень хорошей машиной. Неприятно было только одно: Чулков никогда не летал на «Сопвичах». Всю жизнь он летал только на «Фарманах». Он летал на них целых

два часа! Таков был весь его самостоятельный налет. Чулков летал на «Фармане» два часа, кружась над аэродромом и не теряя из поля зрения инструктора.

И вот вместо «Фармана» ему дают «Сопвич»!

Как на грех, «Сопвич» ничем не напоминал «Фармана». Он обладал оригинальной особенностью — глухим длинным фюзеляжем, в котором летчик сидел закрытый почти по грудь. Управляя «Фарманом», пилот видел мелькавшую под ногами землю, а сидя на «Сопвиче», он видел только глухой пол кабины. Мотор на «Сопвиче» помещался не позади пилотского сиденья, как на «Фармане», а впереди, на носу самолета. Все это казалось Чулкову очень странным и необычным.

Впрочем, Чулков довольно смутно представлял себе «Сопвич». Его мучили вопросы: как летать на «Сопвиче»? Как ведет себя в воздухе эта машина? Устойчива ли она? Как вести ее на посадку? Чулков не мог скрыть своего смущения. Но его успокоили:

— У аэроплана тебя ждет опытный механик, он все объяснит на месте. Сматывайся, браток, поскорее, пока в Поворино нет белых.

И он поехал, стараясь в пути получше вспомнить как выглядит «Сопвич». Он видел его один раз в жизни мельком, в Англии.

Как это ни удивительно, но в Англию Чулков заехал по пути в Поворино. Несомненно, это был очень длинный и путанный маршрут. Чулков выехал из дому четыре года назад; он побывал во многих городах и странах и только теперь приближался к цели своего путешествия.

Дружба с техникой началась у Чулкова давно. Это было еще в те времена, когда отец и мать объясняли ему разницу между паром и дымом. Первый пароход он увидел на Дону, первый паровоз — на станции в Воронеже, первый самолет — на картинке в журнале.

Сначала он строил модели пароходов, потом паровозов и, наконец, самолетов. На этом он остановился: модели самолетов он упорно строил ребенком, потом юношей, пока не вырос. Нелегко было тогда, задолго до мировой войны, юному авиамоделисту. Все его модели разбивались при первом же полете: что мог знать о моделях маленький мальчик в те времена, когда сам Блерио был еще новичком в этом деле?

Он перестал строить свои падающие модели только тогда, когда увидел настоящий самолет. Он понял, что в жизни у него есть только одна цель: полеты на аэропланах. Неизвестно, какой дорогой он пришел бы к этому, если бы в 1915 году его не призвали в армию. Ему удалось, выдав себя за рабочего аэроплана завода «Дукс», получить назначение в гатчинскую авиашколу. Это была большая удача. Чулков надеялся, что в Гатчине он скоро научится летать.

В Гатчине его назначили в роту Павлова, во «взвод молодых солдат». Часть считалась образцовой, все здесь было поставлено на гвардейский лад. Занимались только «словесностью» и шагистикой. Но о полетах не было и речи: летать учили только офицеров. За полгода Чулков и не прикоснулся к аэроплану.

Через полгода Чулкову повезло: он попал на курсы мотористов. Но однажды с курсов отозвали сорок пять человек наиболее способных, среди них был и Чулков. Он получил несколько удостоверений: о том, что болен неизлечимой грыжей, что он освобожден от военной службы и едет за границу для закупки сельскохозяйственных машин для своего имения. Предполагалось, что это поможет обмануть немцев, если они захватят Чулкова в дороге. Чтобы Чулков был похож на помещика и отвык от военной выправки, ему выдали, как и другим, штатское платье и приказали ходить в нем две недели. Все «помещики» были как две капли воды похожи друг на друга. Людей так вымуштровали, что вернуть им естественный вид не удавалось. Полгода службы в образцовой части не шутка.

Они ехали через Финляндию, Швецию, Норвегию, Англию. В Стокгольме им предложили оставить на несколько часов свой багаж на перроне, без охраны. Каждый старался засунуть свой сундучок в середину. Солдатам казалось, что шведы обязательно их обворуют. Они долго не могли уйти с вокзала — никак не удавалось засунуть все сундучки в середину. Какая-то часть их все время оставалась с краю. Вернувшись из города, они были



удивлены тем, что шведы не польстились на сундучки.

В море все время ожидали нападения подводных лодок. Немцы уже не раз снимали с пароходов подобных «помещиков» — они узнавали их с первого взгляда. Многие ехали в спасательных поясах. Увидели плавающую бочку и стреляли в нее из орудий, приняв за подводную лодку. Только во Франции они узнали о цели своей поездки: их направили на авиамоторный завод «Испано-Сюиза». Изучив монтаж и сборку моторов, они должны были отправиться в Симферополь на строящийся завод «Анатра».

В июле 1917 года Чулков вернулся в Петроград, отсюда поехал в Одессу, затем в Симферополь. Он был прекрасным, высококвалифицированным механиком, специалистом по моторам. Но как только почувствовал, что начальству не до него, он бросил завод и поехал в гатчинскую школу, которую покинул два года назад.

В школе царил хаос. Солдаты-мотористы и механики отказывались работать. Они не хотели работать, если их не учили летать. Чулков был хорошим механиком, его быстро оценили. Инструктор Козлов, английской школы, взялся его обучать. Офицеры заискивали перед механиком. Сначала летали механики, а потом офицеры. Механиков нельзя было обижать: когда они обижались, не мог летать никто.

Школа эвакуировалась в Самару, из Самары — в Казань, из Казани — в Пермь, из Перми — в Егорьевск. Кочуя по городам, Чулков учился летать. Повсюду школа теряла и оборудование и людей. Под конец от школы не осталось почти ничего. В Егорьевск прибыла кучка людей почти с пустыми руками. Среди них был Чулков.

Здесь-то он наконец доучился летать.

Однажды старик-инструктор подвел Чулкова к «Фарману». Некоторое время он молчал; Чулков в недоумении стоял около него. Инструктор задумчиво гладил ладонью крыло аэроплана.

— Хорошая машина, очень хорошая машина, — повторил он несколько раз. Затем, неожиданно обернувшись к Чулкову, крикнул: — Ну, лети, бей!

Чулков обмер. Это было полной неожиданностью. Его посылали в самостоятельный полет!

Когда он поднялся в воздух, инструктор, провожая его взглядом, произнес:

— Вот вылупился пилот.

Но встретил его сухо:

— Напрасно радуешься, все равно в статистику попадешь.

«Попасть в статистику» — значило разбиться.

Он говорил это всем новорожденным пилотам, всем молодым «гробарям», чтобы не зазнавались.

Инструктор не знал, как засиделся этот цыпленок в своей скорлупе, как долго он в ней путешествовал по миру, прежде чем вылупиться на белый свет.

Ведь все, что он делал в жизни до сих пор, не было ему нужно само по себе. Рота Павлова, путешествие за границу, «Испано-Сюиза», завод «Анатра», кочующая школа, четыре года, наполненных трудами, опасностями и приключениями, — все это было только для того, чтобы получить аэроплан и летать. Все это — ради события, которое должно произойти сегодня в Поворино.

«Это было мечтой его жизни», — говорят в таких случаях. Но ведь мечтать легко. Можно всю жизнь лежать на диване и мечтать сколько душе угодно. Чулков же подчинил мечте всю свою жизнь. Он гонялся за ней по всей Европе. Теперь он ухватил ее наконец. Правда, судьба под конец посмеялась над ним — под сунула гнилой аэроплан. Нелегко было пережить это. Но Поворино вознаградит за все. Он получит здесь «Сопвич». Лучше было бы, конечно, если бы это был «Фарман». Как идти на посадку, если, сидя в фюзеляже, не видишь мелькающей между коленями земли! Он с трудом представлял себе это. Глухой пол под ногами очень, очень смущал его. Но он старался не думать о посадке. Он думал о другом. В Поворино кончатся запутанные кружные тропы его жизни, здесь перед ним откроется прямая, широкая дорога — дорога летчика.

Поворино обстреливали из пулеметов. Станция была почти безлюдна. Одни ушли поближе к пулеметам — воевать, другие подальше от них — прятаться. Налево от станции была видна наступающая цепь белых, направо, на поляне, стоял самолет.

Возле него никого не было. Какая-то фигура маячила в некотором расстоянии от самолета. Было похоже на то, что она старалась держаться не слишком далеко от него, но и не слишком близко. Фигура была очень невзрачна. Голову незнакомца прикрывала ермолка. Такие ермолки носят только местечковые евреи и академики. Однако он не был похож на академика. Это можно было сказать наверное. Весь вид его говорил: «Я не имею ничего общего с этим самолетом, я очутился здесь совершенно случайно и сейчас же отправляюсь по своим частным делам. Мои дела носят глубоко мирный, домашний характер и не имеют никакого отношения ко всей этой стрельбе».

Чулков не знал бортмеханика в лицо. Так как поблизости никого не было, Чулков, обойдя несколько раз вокруг самолета и заглянув в кабину, приблизился к незнакомцу:

— Вы тут не при самолете? — спросил он его.

Лицо незнакомца отразило величайшие сомнения, которые в нем возбудил этот бестактный вопрос. Но, прежде чем он успел ответить что-либо, Чулков и сам обнаружил того, кого искал. Взглянув на пропитанные маслом брюки незнакомца и уловив исходивший от него запах перегорелой касторки, Чулков понял, что механик стоит перед ним. В свою очередь и механик решил про себя, что пилотский шлем Чулкова в достаточной мере удостоверяет его личность.

— Где же вы, батенька, пропадали? — всплеснул руками человек в ермолке. — Я уже был на волосок от эвакуации. Если я еще здесь, то только потому, что терпеть не могу удирать пешком. Садитесь же скорей! Машина стоит против ветра.

Он бросился в сторону, вытащил из-под небольшого камня шлем и пачку документов и торопливо засунул их в карман.

— Но сначала вы мне должны объяснить... — начал Чулков застенчиво.

— Что объяснить? — прервал его механик. — Вы с ума сошли! Белые будут здесь через пять минут. Летим немедленно!

— Да, но вы должны мне рассказать, как на «Сопвиче»...

— Я в жизни не видел такого любопытного человека! Потом, потом все расскажу, когда прилетим.

Чулков был в отчаянии.

— Да поймите же, я никогда не поднимался на «Сопвиче». Мне сказали...

Механик чуть не заплакал от досады.

— Что же вы хотите, чтобы я начал учить вас летать? Да разве можно на словах объяснить, как летает аэроплан?

На перрон со звоном посыпались стекла. Ручные гранаты уже рвались по ту сторону станционного здания, на путях. Возможно, что красных уже не было на станции.

— Или мы летим, или я гроблю мотор и ухожу пешком!

Механик снова надел ермолку, вынул из кармана документы и шагнул к камню.

Спорить было бесполезно. Это напоминало разговор слепого с глухонемым. Разве человек в ермолке мог понять, что сейчас чувствует человек в шлеме? Это мог понять только тот, кто сам имел два часа налета на «Фармане» над тихим аэродромом, в присутствии инструктора, а теперь должен был сесть в незнакомый аэроплан и взлететь над полем сражения.

— Летим! — сказал Чулков.

Они подбелсали к «Сопвичу», механик сорвал с мотора брезент.

— Вот тебе контакт, вот тебе сектор, — крикнул он, тыча пальцем во что-то внутри кабины. — Остальное объясню на месте, если долетим.

Через секунду Чулков сидел в незнакомой кабине. Он озибался в ней, как кукушка в чужом гнезде. Механик не дал ему даже взглянуть как следует в незнакомые приборы, краны и рычаги. Чулков разобрался в них не инстинктом летчика, а инстинктом механика.

Но разве инстинкт механика мог ему подсказать, как ведет себя «Сопвич» в воздухе?

Шел дождь, дул сильный ветер. Пулеметы заливались за их спиной.

Мотор завелся сразу. Самолет взлетел хорошо и долго шел по прямой, набирая высоту. Чулков все не решался сделать вираж. Вираж мог кончиться черт знает чем. И в то же время он боялся уйти от железной дороги. Без нее он обойтись не мог — он еще никогда не ориентировался по карте. Если бы железная дорога исчезла, он не знал бы, куда лететь. Механик толкнул Чулкова в спину и показал назад большим пальцем.

В воздухе бортмеханик совершенно успокоился. Он чувствовал себя великолепно. Механик робел только на земле. К воздушным опасностям он был совершенно равнодушен.

Волей-неволей Чулкову пришлось сделать вираж. Это был такой пологий, такой осторожный вираж, что казалось, ему не будет конца.

Выйдя наконец из разворота, Чулков пошел к железной дороге, чтобы как следует «уцепиться» за нее.

В это время мотор остановился. Они летели всего лишь десять минут и теперь должны были сделать вынужденную посадку.

Он хорошо посадил аэроплан на пашню, хотя и не вдоль борозд, а, по неопытности, поперек. Прежде чем остановиться, «Сопвич», долго прыгал по бороздам. Механик, морщась, держался за живот.

— Ты мне, дяденька, все нутро отбил, — недовольно сказал он, вылезая из кабины. Земля снова сделала его мрачным.

Теперь Чулков мог рассмотреть как следует, на чем он летит. Минуты две он сидел неподвижно, разглядывая рычаги управления и приборы незнакомого самолета.

А здесь было на что посмотреть! После «Фармана» «Сопвич» казался великолепным. Целых три прибора украшали пилотскую кабину: показатель скорости, компас и какой-то загадочный прибор, оказавшийся счетчиком оборотов мотора. Такого прибора в школе не было. На «Фармане» для этой цели служил другой остроумный прибор — стаканчик с пульсирующим маслом. Чтобы точно определить число оборотов мотора, достаточно было вынуть часы и сосчитать, сколько раз в минуту пульсирует масло в стаканчике. Так доктор считает пульс у больного. Но этот остроумный и удобный прибор, конечно, не выдерживал, никакой конкуренции со счетчиком, установленным на «Сопвиче»: он показывал число оборотов мотора с помощью обыкновенной стрелки на циферблате.

Они расположились на влажной земле, и «Сопвич» укрыл их своим крылом от морозящего дождя. Линия фронта осталась километрах в двадцати. Чулков приготовился слушать лекцию о «Сопвиче».

Тема первого урока была злободневной — «Причина вынужденной посадки». Виновницей вынужденной посадки оказалась помпа. Чулков осведомился, для чего эта помпа нужна. Механик объяснил, что она служит для перекачивания бензина из главного бака в добавочный. Он объяснил также ее устройство. Это можно было сделать с большим удобством, так как помпа развалилась на составные части.

Но по этой же причине приобретенные Чулковым знания не имели практического значения. Добросовестно изучив устройство помпы, они бросили ее на дно фюзеляжа. В полете предстояло качать бензин ручной помпой: лететь и качать, лететь и качать.

Они взлетели, скова прицепились к железной дороге и взяли курс на Балашов. Внизу расстилалась серая, однообразная равнина, простроченная линией рельсов и шпал. Чулков вспомнил, что, мечтая о полетах, он всегда представлял себе землю прекрасной, залитой солнцем, необычайно живописной. Впоследствии он понял, что чем живописнее пейзаж, тем менее он пригоден для вынужденных посадок. Самолет, на котором Чулков летал в своих мечтах, был так послушен, что подчинялся не только его движениям, но и мыслям, желаниям. Так летают во сне. Захотел полететь направо — и самолет летит направо, захотел

повернуть налево — и самолет покорно поворачивает налево.

Но «Сопвич» не был похож на самолет из сновидения. Это был адский труд — летать на «Сопвиче». Чулков летел и качал, летел и качал. Неустойчивый «Сонзич» нырял в воздухе в такт движениям помпы. У Чулкова болели руки; он продрог; ощущение, которое он испытывал, не было ему знакомо по сновидениям. Это была легкая тошнота и еще что-то, в чем стыдно было себе признаться: ощущение опасности, боязнь упасть на землю.

Чулков поглядывал, как его научил механик, на стеклышко, через которое был виден уровень бензина в баке. И хотя он качал усердно, уровень бензина вдруг стал понижаться. Чулков все качал и качал, но бензина не прибавлялось. Приходилось снова садиться.

Они сели на ровный луг и стали изучать устройство ручной помпы: разобрали ее, внимательно рассмотрели, но, так как выбросить ее нельзя было (хотя она этого и заслуживала), они занялись нелегким ремонтом и через каких-нибудь два часа взлетели снова.

Благополучно, уже без всяких приключений, они прилетели к Балашову. Вечерело. Дождь прекратился, но ветер стал еще сильнее. Это был шквалистый, часто менявший направление ветер. Чулков беспокойно вертелся в своей кабине, высовывая голову то направо, то налево. Пол кабины мешал ему разглядывать землю. Но еще больше беспокоил ветер. То, что в науке навигации известно под изящным названием «роза ветров», представлялось Чулкову в виде клубка извивающихся змей. Действительно, этот ветер не понравился бы и опытному пилоту. Это был временный, но серьезный беспорядок в воздушной среде. Он предвещал хорошую погоду. Над самым горизонтом небо очистилось, и заходящее солнце на минуту окрасило в багровый цвет тяжелые тучи и сырую землю. Это был ветер — предвестник солнца, голубого неба и зноя. Он прогонял тучи, он обещал на завтра славный денек.

Но садиться надо было сейчас. Чулков заметил на аэродроме кучку людей, среди них — командира отряда. Сердце Чулкова наполнилось гордостью — за себя, за отряд, за технику. Какой большой день был у него! Сколько событий! Первый внеаэродромный полет, первый полет на «Сопвиче», первый полет над фронтом, первый полет с пассажиром, первая вынужденная посадка — все это в первый раз в жизни и все за один день!

Земля показалась ему прекрасной, а самолет — надежным и послушным.

Никогда еще столько народу не смотрело, как он садится. Только бы сесть хорошо! Он посмотрел на ветроуказатель и сделал расчет посадки. Ему, конечно, хорошо было известно, что нужно садиться против ветра. Но после первого круга он на всякий случай еще раз посмотрел, в какую сторону указывает полосатый «колдун» на крыше, и еще раз сделал расчет. Это был вполне правильный расчет — расчет посадки против ветра. «Сопвич» перестал быть загадкой, он безропотно повиновался ему. Славная машина! Чулков пошел на посадку. Он сделал это немного развязно: в последний момент ему захотелось, чтобы машина подкатилась вплотную к группе встречающих.

После всего, что было, мог же он позволить себе эту маленькую вольность!

Но что это? «Сопвич» не коснулся земли в том месте, где предполагал Чулков. Он прошелестел над самыми головами встречающих. Они пригнулись в испуге и, когда посмотрели назад, уже не увидели самолета. Он все неся и неся, английский самолет с русской фамилией: шквалистый ветер дул ему в спину, и ничто, казалось, не могло его остановить. В сгустившихся сумерках он бесшумно промчался над дорогой, над самыми крышами хат, над огородами, над стадом равнодушных коров, над ручейком. Казалось, никакая сила не может придавить к земле этот странный самолет. Он приземлился лишь за деревней, на выгоне, на утопанной скотом земле, среди коровьих лепешек и воздвигнутых сусликами курганчиков, за полкилометра от аэродрома. И только здесь Чулков понял, что случилось: он все перепутал, он сел по ветру. Это была его первая оплошность в воздухе.

## Стрела и рыба

Оставалось сделать круг над городом, чтобы выбрать место для посадки, но в этот момент мотор остановился. «Вот тебе и Темрюк!» — подумал Чулков.

Садиться нужно было немедленно. Недалеко от набережной он увидел небольшую лужайку, которая, казалось, могла приютить его «Сопвич». Некоторые подозрения внушала лишь чересчур яркая, ядовито-зеленая окраска луга.

Летчик заметил ловушку только тогда, когда машина снизилась настолько, что можно было разглядеть каждую отдельную травинку. Трава росла не из земли, а из воды. Вода отсвечивала между стеблями. Нужно было во что бы то ни стало перепрыгнуть через болото. Чулков попробовал пришпорить теряющий скорость «Сопвич», взяв ручку на себя. Самолет кое-как перетянул через болото и тяжело плюхнулся на людную пристань. Летчик испытал то же самое ощущение, что всадник, перепрыгнувший через пропасть, когда задние ноги скакуна срываются в бездну и из-под копыт сыплются камни и земля.

Счастливо миновав телеграфные провода, какую-то будку, повозку с лошадьёю, самолет перевалился через шоссе, с грохотом проехал по расставленным на земле косякам глиняных кувшинов и понесся прямо на стену чисто выбеленного, уютного домика. Перед домиком спокойно стояла чистенькая старушка и, высоко подняв руку, крестила мчащийся на нее самолет.

Самолет остановился в одном метре от старушки и в двух метрах от домика. Некоторое время летчик и старуха молча разглядывали друг друга. Старуха была совсем древняя, мясистый нос ее был усеян синими пороховыми точками. Весь ее вид говорил: «Если бы не я, не остановиться бы тебе на этом месте, сынок».

«Отчаянной жизни старуха», — подумал летчик.

Рядом был городской сад, откуда доносилась музыка.

У входа в сад висел большой плакат, на котором крупными буквами было написано: «Львы Толстого». В передвижном цирке выступал укротитель Толстой со своими львами. Весь Темрюк был в саду. Львы попадали в этот город не часто. Через минуту, однако, площадь втянула в себя все содержимое сада, включая оркестр. В саду остались только львы Толстого. Аэропланы попадали в этот город еще реже. Толпа раздавила остатки кувшинов и тесным кольцом окружила самолет. Тишину нарушали лишь крики разоренных в мгновение ока торговков и далекий рык озадаченных львов. В задних рядах сверкали трубы музыкантов, прибежавших последними.

Пилот и летнаб вылезли из самолета. В этот момент, звеня шпорами и галантно освобождая дорогу следовавшей за ним даме, к самолету подошел щеголеватый кавалерист.

— Кто летчики? — спросил он, обведя взглядом круг людей и не найдя в партикулярной толпе никого, чья внешность была бы достойна этого звания.

На Чулкове были сандалии на босу ногу, бумажные полосатые брюки, чересчур короткие. Одна штанина потемнела от масла: «Сопвич» выбрасывал масло в одну сторону. Летнаб из-за очень малого роста был еще менее представителен. Чулков же заметно возвышался над толпой. Между ними было такое соотношение, как между скрипкой и контрабасом.

— Мы летчики, — сказал Чулков, — А что?

— Зачем пожаловали в распоряжение части?

— Мы присланы в помощь кавалерии, в распоряжение командования.

— Тогда отправляйтесь за мной, я — адъютант командира части, — властно сказал военный.

Заметив в толпе двух кавалеристов, он поставил их на караул у самолета. После этого адъютант и летчики отправились в штаб, уводя за собой почти всю толпу, в том числе оркестрантов с трубами и торговков, громко требовавших возмещения убытков.

Так они пришли в штаб.

— Вот эти — летчики? — удивился командир части. — Немедленно одеть по форме, иначе разговаривать не буду! Сейчас же отправить их в цейхгауз и переодеть с ног до головы.



Они уже были в дверях, когда командир крикнул:

— И дать им все самое лучшее!

Каптенармус, не скупясь, выложил перед ними все свои богатства. То, что они увидели, потрясало своим великолепием и в то же время приводило в глубочайшее уныние. Перед ними лежали роскошные черкески с посеребренными газырями; кавказские кинжалы; узкие, в обтяжку, сапоги; красноеверхие, расшитые золотом шапки-кубанки... Часть была кубанская кавалерийская, и другого обмундирования не имелось. Летчики пригорюнились. Алая черкеска и кожаный шлем... Никогда еще ни один летчик не осквернял воздуха таким нарядом. Однако выбора не было, и приказ есть приказ.

Они снова предстали перед командиром. Теперь он был вполне удовлетворен их видом — и нарядом, и выправкой.

Он подробно обсудил с представителями вновь прибывшего рода оружия разные военные дела. Авиацию причислили к кавалерии.

А в военных делах в те дни на Таманском полуострове было затишье. Часть находилась как бы на отдыхе, накапливая силы перед большими боями.

Боевой опыт Чулкова был очень скромнен. Можно сказать, что под настоящим огнем он не был ни разу. В отряде много говорили о подвигах других летчиков, на других фронтах. Рассказывали, например, что, когда в одном из отрядов обнаружился недостаток бомб, летчики стали брать в самолет несколько больших тыкв с привязанными к ним продырявленными коробками из-под консервов. Эти безобидные снаряды летели вниз со страшным визгом и грохотом и наводили ужас на противника. Но самому Чулкову еще не приходилось сбрасывать с самолета ни грозных тыкв, ни обыкновенных бомб, ни даже листовок. Он находился на раннем этапе летной жизни, когда все усилия направлены на то, чтобы держаться в воздухе и не падать на землю.

В отряде много рассказывали о подвигах славного аса Сапожникова. На днях Сапожников разбился на трофейном «Снайпе», захваченном в Архангельске. Лишь за день до рокового полета Сапожников, по обычаю того времени, нарисовал на новой машине свои эмблемы: пиковый туз на фюзеляже и черные звезды под крыльями. Тогда это не казалось странным, и никому не приходило в голову осуждать за эту наивную романтику человека, сбившего не один вражеский самолет и имеющего не так уж много шансов на то, чтобы уцелеть самому. Сапожникова хоронили под звуки его любимого вальса «Весенние грезы» — таково было завещание аса. Большая толпа мужественных и закаленных людей плакала под звуки этого сентиментального вальса, провожая прах товарища. Так рассказывали очевидцы.

Но сам Чулков никогда не видел Сапожникова, не смел мечтать о большой славе, а на фюзеляже своего «Сопвича» нарисовал лишь скромную красную стрелу, хотя у старших его товарищей и были куда более оригинальные и вызывающие эмблемы: у одного — черт на хвосте, у другого — девятка бубен, у третьего — загадочная птица киви; а у одного из приятелей Чулкова весь самолет был покрыт устрашающей военной татуировкой: вокруг фюзеляжа обвивалась толстая и противная желтая змея.

Рассказывали в отряде и о приказе, отданном начальником авиации накануне славенской операции на польском фронте. Бросая в бой даже те самолеты, которые и по тому времени считались неполноценными, командир распорядился:

— Предлагаю условные самолеты принять за настоящие, поскольку на них можно подняться.

«Условные» самолеты поднялись в воздух и нанесли тяжелое поражение белополякам.

Но сам Чулков только однажды летал с боевым заданием — на разведку в тыл противника. Он летел с опытным наблюдателем — матросом Бойцовым. Тот часто заставлял Чулкова кружить над одним каким-нибудь местом и все что-то записывал и зарисовывал. Чулкова это удивляло: он обладал зрительной памятью летчика и все запоминал с одного взгляда. В одном месте Чулков заметил какие-то странные шрамы, причудливо избороздившие землю.

— Что это такое? — спросил он Бойцова.

— Окопы, — ответил тот.

Дальше Чулков заметил еще нечто странное — белые, медленно передвигающиеся хлопья.

— Это что? — спросил он наблюдателя.

— А это в нас из пушек стреляют, — ответил тот.

Но стреляли в них плохо, и они благополучно прилетели домой. Коснувшись земли, самолет стал крениться, колесо с осью отвалилось, машина стала на нос, винт сломался. Никто не удивился этому: ось уже гнулась раз шестнадцать, перед каждым полетом ее переворачивали, чтобы она выгибалась в обратную сторону. Вот она и гнулась туда-сюда, пока не сломалась совсем. После этого Чулков полтора месяца горевал, сидя без машины, куда не был направлен в Темрюк.

На следующий день он снова явился к своему кавалерийскому начальству и получил первое задание: произвести разведку в районе Керчи и донести обо всех замеченных передвижениях неприятеля.

— Главное, — сказал командир на прощание, — передвижения неприятеля. Отмечайте передвижение не только крупных войсковых масс — пехотных и кавалерийских, технических и санитарных частей, эшелонов, обозов и прочего, но и отдельных разъездов, патрулей и разведывательных групп неприятеля.

Командиру нравилось выражение «передвижения неприятеля», и он повторил его несколько раз.

Подавленный серьезностью поручения, Чулков взлетел над тихим курортным побережьем. В эти дни оно сохраняло глубоко мирный характер. Рыбачьи лодки на глади спокойного моря казались неподвижными. Ясно различалось строение дна: песчаного у берега и бурого, заросшего тиной — подальше от него.

Керчь не обратила на Чулкова никакого внимания. Долго кружил он над городом и окрестностями, и нельзя передать его огорчения: никаких передвижений неприятеля он не замечал. Неприятель никуда не передвигался! Более того: внизу не было никакого неприятеля. Вообще не наблюдалось передвижений кого бы то ни было. Не передвигались ни военные, ни штатские, ни люди, ни животные. Погруженный в сонный зной, полуостров казался пустым и безлюдным.

Огорченный Чулков отправился с рапортом к командиру. Тот был раздосадован и уязвлен. Как так? Не может быть, чтобы не было никаких передвижений неприятеля. Раз война идет, неприятель должен передвигаться, а авиация — доносить об этом.

Командир был в затруднении. Он впервые распоряжался авиацией и поэтому стал объяснять Чулкову принципы действия кавалерийской разведки.

Подкрепленный его советами, Чулков вторично полетел на разведку — и с тем же результатом. В третий и четвертый раз произошло то же самое.

Тогда командир части призвал Чулкова и хмуро сказал:

— Я считаю целесообразным соединить наблюдение за передвижением неприятеля с бомбежкой его тыловых объектов.

Теперь полеты совершались по новой программе. Чулков летал в Керчь, высматривая в пути передвижения неприятеля, чтобы сейчас же, буде они произойдут, донести о них командиру; над опустевшим портом он сбрасывал бомбы, затем снижался, обстреливал из пулемета безлюдную набережную и, когда не оставалось ни одного патрона, возвращался домой, по пути снова наблюдая, не покажутся ли где-нибудь крупные войсковые массы противника — пехотные и кавалерийские или хотя бы отдельные группы, разъезды и патрули, на худой конец.

Но земля была пустыня.

Изредка снизу постреливали, но это мало беспокоило Чулкоза.

Он летал каждый день, кроме воскресений. По воскресеньям полетов не было. Чулков и наблюдатель надевали черкески и отправлялись гулять в городской сад.

День был еще более знойный и солнечный, чем обычно. Уже две недели небо было безоблачно. Внизу у самого берега, рыбаки ловили камсу. Они не чувствовали себя военным объектом и не обращали внимания на самолет. Лодки были почти до краев нагружены камсой; сверху казалось, что они наполнены живым, трепещущим серебром.

Чулков потерял надежду высмотреть что-нибудь на земле. Еще меньше его интересовал воздух. Его господство в нем никем не оспаривалось. Директив об обнаружении воздушных сил противника он от командира не получал. Он твердо знал, что, кроме него, Чулкова, в воздухе никого не было и быть не могло.

И вдруг он почувствовал, что он не один в воздухе. Кто-то невидимый летал над ним. Чья-то тень коснулась его самолета.

Она поразила Чулкова не менее, чем Робинзона след человеческой ноги на песчаном берегу необитаемого острова.

Это не могло быть облако — небо было совершенно чисто. Это и не птица — ни одна птица не смогла бы закрыть своей тенью весь его самолет.

Он посмотрел вниз. По земле бежала лишь одна тень — тень его самолета. Другую тень он нес на себе. Кто-то невидимый — над ним!

Только одно место имелось на небосводе, где можно было спрятаться: солнце.

Таинственный спутник маскировался солнцем. Оно его скрывало на своей огненной груди, но оно же его выдало, когда четыре точки — солнце, земля и два самолета между ними — оказались на одной прямой.

Когда все это стало ясно Чулкову, противник прекратил маскировку. Это был быстрый «Ньюпор», лучший истребитель того времени. Он нырнул под хвост «Сопвича», осыпав его градом пуль.

«Вот она, настоящая война!» — подумал Чулков. Он понял, что идиллия кончилась.

Военные действия в воздухе начались, но при каком соотношении сил!

Если не считать газырей на Черкесске, у Чулкова не имелось ни одного патрона. Все они были расстреляны над Керчью. Оставалось одно — увертываться.

Он увертывался и в одну сторону, и в другую, и вверх, и вниз. Он делал глубокие виражи, пикировал, следя за трассирующими пулями и стараясь быть подальше от дымовых дорожек.

Истребитель стрелял длинными очередями, выпуская разом всю обойму. Чулков знал, что действительную опасность представляют только три-четыре выстрела, сделанные в момент прицеливания. Противник либо не знал этого, либо не жалел патронов, поэтому он довольно быстро расстрелял свой запас.

Поравнявшись с Чулковым, он погрозил ему пальцем и пошел вниз. Чулков заметил его эмблему: большая черная рыба на хвосте.

После этого не раз, возвращаясь с разведки, он встречался с вражеским истребителем. Тот всегда подстерегал его на обратном пути. Истребитель рассчитывал на то, что разведчик уже расстрелял часть своих патронов. Они бросались в бой, стараясь сбить друг друга. С Чулковым летал его старый, опытный наблюдатель — матрос Бойцов. Наблюдатель был очень упорный человек. Он каждый день тренировался в стрельбе из пулемета по движущимся целям. Он стрелял все лучше и лучше. А враг продолжал стрелять длинными очередями.

Развязка наступила неожиданно.

Нырнув под хвост «Сопвича», вражеский истребитель не совсем удачно вышел из атаки: он оказался впереди, на развороте, и как раз в сфере пулемета Чулкова.

Чулков нажал скобу. Через секунду несколько пуль послал и Бойцов.

«Ньюпор» вышел из разворота и пошел на снижение.

Чулков увидел: за борт свесилась голова в знакомом шлеме. Машина еще жила, но

пилот был мертв. «Ньюпор» снижался все быстрее, перешел в пике, из пике — в беспорядочное падение. В последний раз взмахнула хвостом большая хищная рыба, привыкшая жить в воздухе, и погрузилась в воду среди рыбацких шаланд и сетей, расставленных для ловли серебристой камсы.

## Пилот и автомат

Человек всегда гордился техникой своего времени.

Наш далекий предок, впервые научившийся владеть палкой, рассуждал приблизительно так: я живу в век высокоразвитой техники, ибо никто не владел палкой до меня: и, чтобы научиться этому, понадобится опыт множества поколений.

Наш предок был несомненно прав, полагая, что он находится на вершине технического прогресса. Но в своем высокомерии он не помышлял о том, что не пройдет и сорока-пятидесяти тысяч лет, как его великое открытие покажется совершеннейшей чепухой по сравнению с тем, до чего додумаются его шустрые потомки. И в самом деле, разве мог в его время кто-нибудь предположить, что человек будет добывать огонь, ударяя камень о камень?

В наши дни события в истории техники следуют в более быстром темпе. Достаточно человеку зажечься подольше на белом свете, и он уже вспоминает о великих достижениях техники, волновавших умы в пору его юности и зрелости, не иначе как со снисходительной улыбкой. На протяжении своей короткой жизни современный человек не один раз переживает триумфы, которым мог бы позавидовать и великий питекантроп, изобретатель палки, и гениальный неандерталец, изобретатель огня.

Как приуныли бы эти два парня, если бы им показали технику будущего! Куда девалось бы их высокомерие! Какими жалкими показались бы этим волосатым ребятам их дубины, их кремни...

Но не лучше ли почувствовал бы себя и современный человек, если бы ему дали возможность заглянуть в будущее? Он пришел бы в такой ужас от сознания собственной отсталости, что все стало бы валиться у него из рук.

Разве не доказывает это история, случившаяся недавно с одним из почитаемых всем человечеством пионеров авиации? В годовщину своего исторического перелета, открывшего мировую дорогу летательному аппарату тяжелее воздуха, он решил подняться на аэроплане, хранившемся в музее, как священная реликвия, в течение тридцати лет. Аэроплан был тщательно обследован, отремонтирован, окрашен и подготовлен к полету. Огромные толпы народа собрались на аэродроме, чтобы присутствовать при этом исключительном зрелище. Ветеран влез в кабину, подозрительно долго возился в ней, затем посмотрел на небо, на землю, на толпу и вылез из аэроплана.

— Нет, — сказал он, — я не полечу. В молодости я совсем иначе смотрел на эту чертовщину. А теперь я слишком опытен, чтобы повторять безумие юности. В наши дни летать на этой жюльерновской штуке невозможно.

Чулков подъезжал к Центральному аэродрому, где должен был осмотреть и испытать новый прибор, установленный на четырехмоторном корабле Г-2. Это уже был не тот Чулков, которого мы помним по Балашову, где он садился по ветру; по Темрюку, где он обучался военному искусству у кавалериста. Это был старик Чулков, заслуженный летчик, более всего известный широкой публике как командир пятимоторного самолета «Правда». Более пятнадцати тысяч москвичей получили воздушное крещение из рук Чулкова.

Но мы спешим оговориться: слово «старик» в авиации означает нечто совсем другое, чем в жизни. Оно не имеет ничего общего с морщинами, дряхлостью, сединой и стариковскими болезнями. Поясним это примером.

Один из давних друзей и боевых соратников Чулкова, летчик Х., сейчас же по окончании гражданской войны был направлен в Среднюю Азию. Он работал там несколько

лет. В центре знали, что есть в Средней Азии старый, очень опытный летчик Х., трижды награжденный орденом Красного Знамени, Герой Труда. Понадобилось как-то поручить кому-либо из летчиков выполнение очень ответственного задания в Средней Азии и Афганистане. Х. вызвали в Москву. Когда он явился к руководящему товарищу, тот был удивлен: перед ним стоял высокий голубоглазый, светловолосый парень, на вид лет двадцати восьми.

— Как ваша фамилия? — спросил начальник.

— Х., — ответил летчик, вытянувшись по-военному.

— Очень жаль, но произошла ошибка: мне нужен старик Х.

— Я и есть старик Х., товарищ начальник, — сказал пилот.

К такого рода авиационным «старикам» принадлежит и Чулков. Не один юноша позавидует могучей грудной клетке, белым, крепким зубам, бронзовой коже и оптимизму нашего «старика».

Этот оптимизм зиждется, между прочим, на убеждении, что и настоящей старости — в конце концов ее ведь не избежать и летчику — не так легко уж будет разлучить пилота с машиной, если он сам этого не пожелает. У нас есть работающие летчики-дедушки. Мы имеем в виду не почетных «дедушек русской авиации», а дедушек в прямом, житейском смысле слова, обыкновенных фамильных дедов. Приласкав своих внучат, эти дедушки взлетают в поднебесье. Они приходят домой в тугих кожаных регланах и добротных фетровых сапогах и, будучи в хорошем расположении духа, разрешают внучатам поиграть пилотскими очками и планшетом с воздушной лодкой. Правда, еще недавно существовала теория «излета». Она утверждала, что летная жизнь каждого пилота измеряется определенным, большей частью небольшим, сроком: восемью, десятью, двенадцатью годами. Кончается этот срок — и пилот «вылетывается». Долго держалась эта теория, пока советские ученые не доказали, что никакого излета не существует. И наши дедушки продолжают благополучно летать, уже не тревожимые обидной и лженаучной теорией «излета». А между тем кое-кому из них уже идет шестой десяток.

Итак, Чулков подъезжал к Центральному аэродрому. Иногда он не прочь был пофилософствовать про себя, и сейчас для этого представлялся подходящий случай. То, что он видел здесь четверть века назад, и то, что ему предстояло увидеть сегодня, было начальным и заключительным этапом очень важного для человечества периода в истории техники.

Лет за восемь до революции он впервые в жизни увидел полет аэроплана. Это был полет Заикина.

Борцу Заикину самолет купили купцы. Они же послали его на свой счет во Францию — обучаться полетам. Он ездил по городам, демонстрировал полеты и выступал в цирковых чемпионатах борьбы. Аэроплан возили за ним в поезде. Совершая свое турне, он заехал в Воронеж, где жил Чулков. На полет собрался весь город. Но аэроплан продержался в воздухе лишь несколько секунд. Он перелетел через забор и рухнул в кусты.

Из-за обломков вылез совершенно пьяный Заикин. Он оглашал воздух бранью: поломки исправлялись за его счет, так гласил договор с купцами.

Чулков одним из первых оказался на месте аварии. В суматохе ему удалось стянуть на память осколок пропеллера. Через пять минут на земле остались только тяжелые и громоздкие части — то, что поклонники авиации не в состоянии были поднять и унести с собой.

Настоящие полеты Чулков увидел только через несколько лет в Москве, на Ходынке.

Огромное поле, где теперь расположился Центральный аэродром, не было огорожено. В одном углу возвышалось несколько сарайчиков завода «Дукс» и павильон аэроклуба с фигурой Икара на крыше.

Рядом стояла будочка с вывеской:



## Б. И. РОССИНСКИЙ ПОЛЕТЫ С ПАССАЖИРАМИ

Через поле проходило шоссе. Аэропланы взлетали над самыми головами извозчиков и их испуганных кляч. Праздничный народ сновал по аэродрому во всех направлениях: все хотели видеть полеты.

Габер-Влынский испытывал «Мораны» и «Дюпер-Дюссены» завода «Дукс». Он громко ругался, тумачи сыпались направо и налево. Перед тем как взлететь, он садился на автомобиль и гонялся за публикой, освобождая место для разбега своего самолета. Публика была в восторге. Она получала двойное удовольствие. Автомобиль тоже был новинкой. Езда на автомобиле по изрытому ямами полю была не менее головокружительным трюком, чем полет на аэроплане.

В день полетов французского авиатора Пегу на аэродром пускали по билетам. Знаменитый Пегу, впервые в мире сделавший мертвую петлю, должен был продемонстрировать перед москвичами свое удивительное искусство. Никто не знал, что на самом деле первую мертвую петлю сделал замечательный русский летчик Нестеров.

Чулков был среди бесплатной публики, разместившейся в Петровском парке. События этого дня врезались в его память с величайшей отчетливостью. Он помнит даже лица людей, которых видел в этот день. Он помнит, например, трех пьяных слепых; они орали песни, размахивали палками перед собой, разгоняя прохожих и останавливая трамваи. «Наверно, они протестуют против того, что не могут увидеть мертвые петли Пегу», — подумал тогда Чулков. Он запомнил старика-сапожника с неописуемо грязной лысиной, в фартуке и очках; двух молодых нянек, забывших обо всем на свете и в том числе о младенцах, плакавших в своих колясках. Все эти люди — соседи Чулкова по поляне — и он сам составили единый слитый хор, дружно, как по команде, оравший и свистевший в самые захватывающие моменты.

Десятки тысяч людей кричали вместе с ним.

На верхней стороне крыла кувыркающегося в небе самолета большими буквами было написано: «Пегу».

Каждый раз, когда самолет переворачивался вверх колесами, публика видела ярко освещенные солнцем большие черные буквы на желтом фоне:

### Пегу... Пегу... Пегу...

И каждый раз над Ходынкой и Петровским парком проносилось такое могучее «ах!», что самолет изобретательного француза, вероятно, подбрасывало воздушной волной.

Чулков вспоминает и другие годы, другие картины.

18, 19, 20-й годы... Та же Ходынка. Самолеты, у которых одна лишь табличка с номером могла блеснуть заводским происхождением, а все остальное было снято с других машин, похоронивших под своими развалинами не одного смельчака... «Авиаконьяк», «казанская смесь», бензол, ацетон, толуол и прочая дрянь, на которой летали, когда не было бензина... Эти составы разъедали резиновые трубки бензинопроводов, покрывали язвами руки мотористов. Он помнит, как самолеты обували в «лапти», обматывали колеса жгутами соломы и веревками, так как шин из каучука не было.

Машины рассыпались в воздухе. Но люди летали. Старики помнят случай с летчиком Аниховским. На высоте тысяча шестьсот метров его самолет развалился на части. Фюзеляж, крылья, мотор — все это летело вниз рядышком, отдельно друг от друга. Аниховский тоже падал камнем. Он, вероятно, не успел даже подумать о том, что его может ушибить в воздухе

мотором или чем-нибудь другим.

Но у самой земли ему невероятно повезло, как не везло ни одному летчику в мире. Он угодил в телеграфные провода, затем свалился в огромный сугроб у Солдатанковской больницы. Немало людей падало с высоты полутора километров, но никто из них не оставался в живых. Во всем мире не было такого случая со времен Икара. А Аниховский остался жив, отделавшись простым переломом ноги, причем ему не пришлось даже далеко искать хирурга, ибо он удачным образом выбрал место для своего падения — как раз у входа в больницу.

Пусть читатель попробует поставить себя на место Аниховского. Предположите, что вы падали с высоты тысяча шестьсот метров, что *вы летели на землю* вместе с обломками самолета и остались живы. Захотелось бы вам после этого летать снова? Не спешите отвечать «нет». Когда Аниховский выздоровел, его снова потянуло подальше от земли. Он как бы предчувствовал, что не воздушной стихии ему следует остерегаться. Он вернулся в часть. Здесь-то судьба наконец настигла его: через полгода он умер от сыпного тифа.

Люди хотели летать, и ничто не могло остановить их. На аэродром приходили ребята, называвшие себя летчиками. Они были увешаны авиационными эмблемами и значками. На их шлемах блестели пилотские очки. Им выкатывали самолет. Они садились в машину, давали полный газ, брали ручку на себя, ставили самолет дыбом и разбивались на месте. Это были наивные самозванцы-мотористы, солдаты авиаобозов и хозяйственных команд, страстно мечтавшие о полетах, видевшие, как летают другие, но никогда не летавшие сами.

Раньше взлететь было проще. Нужно было летчику взлететь — он садился на самолет и взлетал. А сейчас это совсем не простое дело. Если пилот намерен подняться на современном четырехмоторном самолете, он должен явиться на аэродром часа за два. Десятки людей уже хлопчут у самолета: заправляют его бензином, маслом и водой, проверяют моторы, приборы, загрузку, готовят метеосводки. Инженерам, механикам, заправщикам, мотористам, метеорологам, дежурному по порту, штурману, радисту, второму пилоту — всем работы по горло. Но инструкция требует, чтобы окончательную проверку всей подготовки самолета производил сам командир корабля. И двух часов иногда едва хватает на это.

Но вот все осмотрено. Чулков сидит за штурвалом. Колодки из-под колес убраны, четыре вращающихся пропеллера образуют вокруг моторов прозрачные нимбы. Остается последний, прощальный обряд.

Пилот поднимает руку. Это значит: «У меня все готово, прошу разрешения на старт». В ответ дежурный разводит в стороны два флажка: «Пожалуйста, рулите на здоровье». Рев моторов становится оглушительным, нимбы пропеллеров растворяются в воздухе, машина тяжело катится по старой ходынской земле.

Воспоминания далеких дней, конечно, не имеют доступа в пилотскую кабину. Они остались за дверью, внизу, на бывшей Ходынке. Самолет делает пологие развороты, и большое поле далеко внизу мерно кренится то в одну, то в другую сторону.

Чулков никогда не мечтает в пилотской кабине, Чулков иногда говорит, что за штурвалом он превращается в автомат. Мозг, глаза, уши, руки и ноги пилота должны одновременно производить столько разнообразных действий и наблюдений, все органы чувств — зрение, слух, осязание и даже обоняние — должны держать связь с таким множеством приборов, передавать столько приказаний во все концы корабля, реакция должна быть такой быстрой и безошибочной, сознание таким ясным, что никакая посторонняя работа ума уже невозможна. В тот момент, когда он кладет руки на штурвал, ставит ноги на педали, надевает радионаушники, устремляет взгляд на доску с приборами, он превращается в автомат, в неотъемлемую часть всего механизма; самолет становится как бы продолжением его самого.

Могут сказать: да ведь это же «человек-оркестр»! Но как раз это сравнение окажется неверным по существу. «Человек-оркестр» напрягается, потеет, из кожи лезет вон, чтобы

руками, ногами, шеей, ртом, локтями, подбородком привести в действие свои многочисленные инструменты. Чулков совершенно спокоен: он не испытывает чрезмерного физического напряжения; он с удобством расположился в своем кресле и, если нужно, высиживает на нем по четырнадцать часов в сутки. Но ум, внимание, чувства его, конечно, поглощены целиком.

Сегодня в это сложное взаимодействие человека и машины должен был включиться новый прибор. Собственно, это был целый ящик с приборами, хотя и небольшой по размеру. Он находился в очень почтенной компании. Его окружали гироскопомпас, компас, искусственный горизонт, показатель скорости, высотомер, указатель угла поворота, счетчики оборотов, тормозной манометр, секторы управления всеми моторами, тормозом и автоматом, радиоаппарат для приема сигналов маяков, приспособление для запуска моторов сжатым воздухом и еще много других хитрых приборов.

Но еще больше всяких циферблатов, стрелок, спиртовых и ртутных столбиков, ручек, кранов и сигнальных лампочек не смогло вписаться в кабине пилота. У нашего человека-автомата не хватило бы глаз и ушей чтобы принимать сигналы от всех этих приборов, и рук — чтобы ими управлять. Пришлось поступить так, как это делают, когда в центральной телефонной станции не хватает номеров: обзавестись коммутатором. И вот множество приборов, рассеянных во всех концах самолета, посылают свои сигналы не непосредственно на центральную станцию, а через коммутаторы. Этими коммутаторами являются бортмеханики, штурман, радист. Они сигнализируют пилоту лишь о важнейшем.

Новый прибор должен был в корне изменить всю систему. Этот маленький ящичек сегодня должен был заменить Чулкова и взять на себя управление самолетом в воздухе! Чулков смотрел на прибор с некоторым недоверием. Он не раз в шутку называл себя самого пилотом-автоматом; он говорил это еще тогда, когда никто не помышлял об изобретении прибора под таким названием. И вот перед ним был настоящий автомат-пилот, машина с функциями человека.

Как описать то, что произошло, когда Чулков включил автопилот? Если мы скажем, что автомат схватил управление, это будет вернее всего. Одна педаль резко дернулась. Автопилот «дал ногу». И сделал он это очень сердито. В момент включения самолет был не совсем в горизонтальном положении, и автомат резко и грубо исправил ошибку Чулкова.

После этого корабль продолжал спокойный горизонтальный полет. Чулков испытывал очень странное ощущение. За двадцать лет он так привык давить на эти рычаги, его руки и ноги так привыкли к их инертному, беспрекословному подчинению, а сейчас эти рычаги сами давят на его руки и ноги, они живут самостоятельной жизнью, они действуют, и действуют разумно. Чулков инстинктивно убрал ноги с педалей.

Самолет шел хорошо, однако время от времени он слегка клевал носом. Линия полета была чуть волнообразной. Несомненно, это было упущение автомата. Но удивительнее всего было то, что он сейчас же сам себя исправлял. Было бы менее удивительно, если бы он не ошибался совсем. Когда самолет клюнул в первый раз, Чулков, забыв, что автомат включен, инстинктивно схватился за управление. Но оно не поддавалось. Напрасно Чулков напрягал мускулы. Автомат был сильнее. Он не боялся Чулкова. Он не только не боялся, что тот с помощью грубой силы заставит его сделать не то, что надо, но он опасался даже, что человек его испортит; ибо сколько бы ни давил Чулков на управление, в системе автомата происходила бы лишь борьба рычагов, не опасная для прибора. Чулков понял, что пока управляет автомат, самолет ему не принадлежит.

«Или он, или я, — подумал пилот. — И это хорошо. Пусть будет единоначалие. Ты управляй самолетом, но тобою буду управлять я...»

Вращая ручки, напоминающие ручки радиоприемника, Чулков установил автопилот на снижение — и самолет стал снижаться; на набор высоты — и самолет стал набирать высоту; на разворот — и самолет послушно вошел в пологий разворот. Он установил автомат на компасный курс — и самолет точно шел по компасному курсу.

В облаках началась довольно сильная болтанка. Автомат и здесь неплохо вел самолет.

Правда, Чулкову показалось, что автомат действует органами управления энергичнее, чем это делал бы он сам. Пожалуй, автопилот чуть-чуть перебарщивал. Он был слишком придиричив, слишком точен, проявлял чрезмерную нетерпимость к изменениям в положении корабля, даже самым ничтожным. Но это не было коренным недостатком. Скорее, это был свой стиль, своя индивидуальность. Ведь у каждого живого пилота тоже свой стиль. Каждый летает по-своему.

В конце концов, Чулков мог бы раскритиковать каждого живого пилота.

Чулков представил себе автопилота в препарированном виде, отделенным от самолета, распростертым в воздухе — так на медицинских плакатах схематически изображается нервная или кровеносная система человеческого организма. Он представил себе заключенный в дубовый ящик мозг автопилота — жирокопический аппарат; его нервы и сухожилия, протянутые к элеронам, к рулям глубины и поворотам, — ту часть аппарата, которая с великолепной точностью, присущей технике, названа «следящей системой»: тросы, идущие к органам управления, и золотники, регулирующие подачу воздуха в цилиндры, которые заставляют эти органы работать.

Чулков встал со своего места — теперь он мог это сделать.

Он посмотрел на опустевшее сиденье, свободный штурвал, на котором он так привык видеть свои руки. Вдруг одна педаль опустилась, штурвал передвинулся. Нет, определенно в этом было что-то сверхъестественное! Рычаги совершали разумные движения, как будто на пилотском месте сидел невидимый человек.

Впервые он летел пассажиром у самого себя. И может быть, поэтому, кажется, в первый раз за всю его летную жизнь, он позволил себе немного пофилософствовать в воздухе. Тут-то Чулкову пришли в голову разные мысли об изобретателях палки и огнива, о машинах дней его собственной юности, о «Сопвиче», «Фармане». Что, если бы ему, фантазеру и мечтателю, показали тогда это пилотское кресло и бесшумно передвигающиеся рычаги перед ним, — что подумал бы он, бедный неандерталец, об авиации?

Вдруг ему захотелось чихнуть. По старой привычке, он надавил ямочку на верхней губе, и желание чихнуть немедленно прошло. Он вспомнил, что этот способ изобрели первые авиаторы. А аэропланы были настолько неустойчивы в воздухе, что неосторожным чиханьем их можно было опрокинуть. Это воспоминание доставило ему удовольствие. В то же время оно вызвало из подсознания какое-то давно забытое, безвозвратно утраченное ощущение, неясное, как призрак. Собственно, не самое ощущение, а воспоминание о нем. Он даже с трудом вспомнил, что же это такое, а когда-то оно ни на минуту не оставляло тех, кто поднимался в воздух. Это было ощущение опасности, боязнь упасть на землю.

*Август 1937 года*